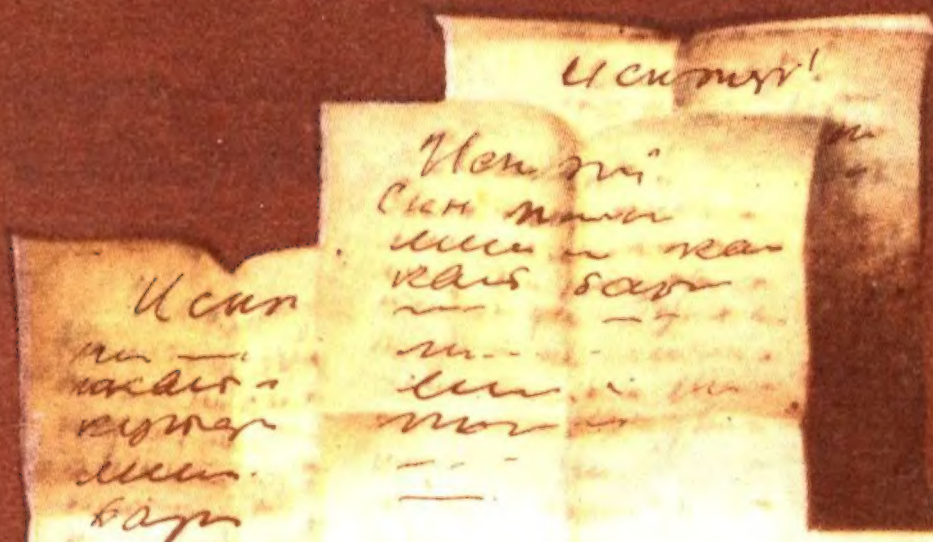
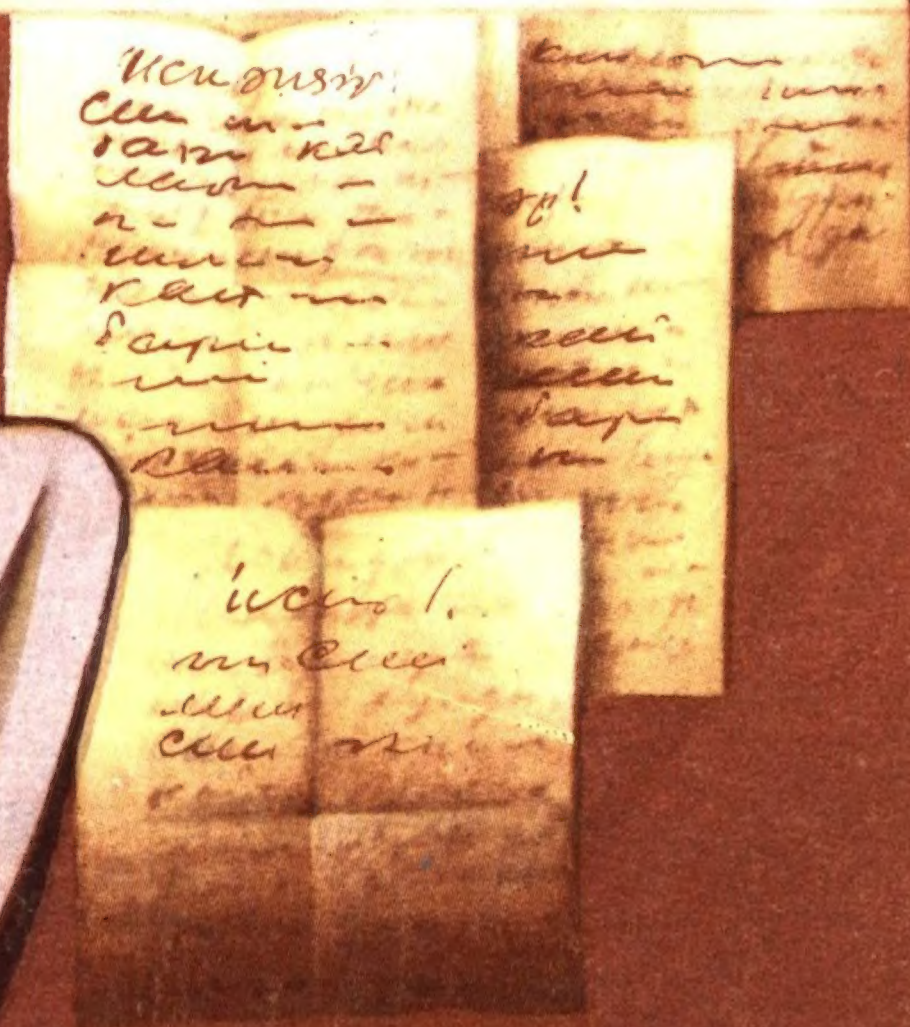


# АДЕЛЬ КУТУЙ



## НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА





# АДЕЛЬ КУТУЙ

## неотосланные письма

ПОВЕСТЬ

Перевод с татарского  
В. ВАЖДАЕВА

КАЗАНЬ

ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1978

## АДЕЛЬ КУТУЙ

Татарский советский писатель Адель Кутуй (Адельша Нурмухаметович Кутуев) родился в 1903 году в селе Татарские Канады Кузнецкого уезда бывшей Саратовской губернии. Обучался в сельской школе, затем, с переездом всей семьи в Самару, учился в Самарской трудовой школе. Там он посещал литературный кружок, которым руководил известный русский советский писатель А. Неверов, стал сам писать стихи. Много учился у В. Маяковского.

Адель Кутуй писал стихи, рассказы, повести и пьесы. Большую известность еще в 30-е годы ему принесла талантливо написанная повесть «Неотосланные письма», неоднократно выходившая и в переводе на русский язык. Повесть эта — о любви подлинной и мнимой, о благородстве чувств и силе характера молодой советской женщины.

Замечательный журналист Адель Кутуй в первые же дни Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, принимал участие в битве на Волге; награжден орденами и медалями. Адель Кутуй умер 16 мая 1945 года от тяжелой болезни в военном госпитале.

Художник И. АХМАДЕЕВ

К 70803—066  
М132(03)—78 142—78

© иллюстрации. Татарское книжное издательство, 1978.

## *Письмо первое*

Искэндер!

Благодарю тебя за откровенное дружеское письмо. Я несколько раз перечитала его. Оно лежит передо мной.

Теперь ты вдруг ощутил горечь нашей разлуки, ты тоскуешь, зовешь, ты пишешь мне... И вот ты встаешь в моей памяти — не избалованный, не эгоист, а тот, прежний, бесконечно любимый Искэндер...

Это было восемь лет тому назад. Ты коснулся руками моего лица, пальцы твои легли на мои волосы, и с необычайной явственностью я — помню — ощутила тогда, как черные пряди, словно мягкое крыло птицы, скользнули по моей щеке.

Взгляд твой говорил о многом, но ты уронил первые пришедшие тебе в голову слова, которые лишь для меня звучали по-особенному. Что бы ни произнесли тогда твои уста, я услышала бы лишь те слова, которых ждала. Сейчас я с радостью думаю о прошлом. Я вспоминаю... Моя любовь к тебе, слышишь ли ты, Искэндер,

моя первая любовь и первая радость родились именно тогда. Воспоминания об этих минутах я храню в себе, как самое дорогое, лучшее. Только тогда ощутила я, как прекрасна жизнь, какое необычайное волнение, радость, счастье, именно счастье — жить.

От прошлого осталось еще много грязи, пошлости, много недостойного настоящего человека, каким должен быть наш советский человек. И если в борьбе с несправедливостью и мерзостью меня порой охватывало отчаяние, то воспоминания о дорогих минутах согревали, придавали мне новые силы. Не удивляйся и не смейся, Искэндер.

Помнишь ли ты нашу первую встречу?

Я любила мечтать. Мне все чудилось что-то прекрасное, необыкновенное, зовущее, хотя мне было очень трудно жить, — ведь я была совсем одна, еще глупенькая девчонка, — но я верила, что существует, есть это прекрасное, радостное. Я верила, мечтала, но все это было в моем воображении, где-то в стороне от моей жизни. О чем мечтала я, чего ждала? Я сама не знаю. Это было неизъяснимое чувство без названия. Это было ожидание томительное и необычайное, как предчувствие. Представь себе, что ты стоишь на краю высокой скалы, прямо под небом и солнцем, вдыхаешь свежий морской воздух, хочешь лететь, но нет крыльев у тебя. Представь себе это, и ты поймешь меня.

Я стояла на вершине скалы, у самого ее края... Вдруг что-то толкнуло меня. Ветер. Свист. Я вскрикнула, закрыла глаза... я падала. И вдруг наступила тишина. За спиной моей незримые раскинулись крылья. Они плавно несли меня по воздуху. Я глянула вниз — там было море.

Все изменилось... Я стала иной.

Маленькая глухая татарская деревушка Ялгаш. В ней я родилась, в ней жил мой отец, он никогда не видел других мест. А я жила в Москве, побывала в Ленинграде,

видела Харьков, Ташкент, Баку. Отец был неграмотный, а я, его дочь, свободно говорю не только на родном татарском языке, но и по-русски, по-английски. Отец всю свою трудную, полную лишений жизнь провел пастухом, да так и умер возле овец. Возле чужих овец.

Он часто болел, бедняга, и ни разу ему не довелось увидеть врача. А я — дочь пастуха — сейчас сама врач.

В письме трудно рассказать, как я узнала, поняла жизнь, как я добилась всего этого и как теперь я счастлива, как полна желанием жить.

Недавно я прочла одну книжку. Она доставила мне много радости: в ней я увидела себя. Герой ее из нищеты, со дна поднялся на гребень жизни, подобно тому, как это было со мной.

Прости, мой далекий, что пишу так беспорядочно. Мысли теснят одна другую, твое письмо вызвало столько воспоминаний.

Я вижу себя и такой, какая я сейчас, я вижу себя и прежней, я чувствую, что многого добилась, я радуюсь и без страха смотрю вперед, где мне предстоит еще немало трудного.

Пишу тебе письмо, а сама слушаю по радио «Неоконченную симфонию» Шуберта. Какое богатство звуков! В них погружаешься, они подхватывают тебя и несут, и несут... Вначале тихие, мягкие, нежные, постепенно усиливаясь, они звучат, как гром, потрясающий все. Опять утихают и вновь разрастаются, словно буря.

Нет! Пока не дослушаю — подожду с письмом.

Рядом сидит Кадрия. Даже она говорит:

— Мамочка! Такая хорошая музыка, а ты не слушаешь!

Рафаэль спит. Он спит так же, как и ты, подложив ладонь под щеку. Чему-то улыбается во сне.

Кадрия задумалась. Ей уже семь лет. Ты бы не узнал ее, Искэндер! Она сильно выросла, стала умной девоч-

кой, иной раз вызывает удивление взрослых своей сообразительностью.

О чем думает моя дочь? Может быть, о том, что принесет ей завтра мама, придя после службы домой, а может быть, и о том, почему же так долго не возвращается папа...

Мы сидим тихо, мы молчим. А звуки льются и льются. Звуки любви и ненависти. Здесь, далеко от Москвы, симфония Шуберта звучит как-то по-особенному сильно.

И в этой глуши я не чувствую себя одинокой, отрезанной от мира.

Москва! Ты не забыла меня. Ты помнишь о нас, ты посылаешь в далекие уголки нашей земли бессмертные звуки творений великих композиторов, прекрасные слова поэтов, чудесные голоса певцов, ты несешь, Москва, земле своей все лучшее из того, что создал человек. Прими же за это мое спасибо.

Продолжаю письмо. На чем я остановилась? Ах, да. Я говорила о себе.

Был 1923 год. Устав скитаться — жизнь до этого не улыбалась мне, — я приехала в Казань и поступила на рабфак Казанского университета.

В первые же дни от избытка радости, счастья я была как хмельная.

«По этим улицам, по этим коридорам когда-то ходил великий Ленин», — говорила я себе.

«В этих аудиториях учился Толстой, сюда мечтал поступить молодой Горький. Здесь когда-то звучали голоса величайших людей земли», — думала я.

Бывали минуты, когда я, прислонившись к белой колонне университета, готова была на весь мир кричать о своем счастье!

Бесконечная радость охватывала меня. Ведь это был путь к настоящей большой жизни. Я чувствовала себя так, будто все самое лучшее, самое прекрасное,

сливаясь воедино, наполняло мое сердце. Сквозь душистую листву сада, в котором я очутилась, виделось мне радостное будущее.

На душе у меня было легко-легко.

Вот тогда-то я и встретила тебя. Каждая любовь имеет свое начало. Но у настоящей любви предела нет.

Бывают годы, в которые только и хочется — любить.

Ведь и яблоки, зарумянившись, созрев, заводят игру с землей. Они падают на ее грудь и прячутся в густой траве.

И цветет черемуха, поют соловьи, соком наливаются вишни, становясь все слаще. Я тоже налилась тогда — избытком сил, молодостью, счастьем. Я не любила еще, но ждала любви. Я не знала любви, но мне хотелось целовать, закрыв глаза, не думая ни о чем...

У нас начались репетиции к большому студенческому вечеру.

Я жила в общежитии рабфака, что на улице Островского. В одной комнате нас было пять девушек. Хотя все мы были разной национальности, но жили дружной, чем родные сестры.

Знаешь, Искэндер, мы больше всего думаем о будущем. Радостное сегодня и чудесное завтра заслоняют прошлое. На думы о прошлом остается мало времени.

Ох, это прошлое! При одной мысли о нем я испытываю ужас и тоску.

Наш университет имеет вековую историю. Но до 1917 года в его стенах училось всего-навсего шесть студентов-татар. И это на протяжении ста лет! Да и те шесть были не просто татары, а сыновья помещиков и купцов.

А сейчас тысячи таких же, как и я, девушек, тысячи юношей-татар окончили университет, получили высшее — вслушайся в это слово — высшее образование!

Я очень любила петь. Музыка, литература — меня всегда влекло к ним. Я думала о том, почему у нас,

татар, плохо развивалось искусство. Тогда же нашла я одну из многих причин. Раньше нашим отцам говорили:

— Не рисуй, брось! На том свете душа твоя переселится в твой рисунок. Он отнимет твою душу и оживет, а ты останешься без души и будешь вечно гореть в адском огне.

Им говорили:

— Не пой! Своим пением ты созываешь нечистых. Не танцуй! Ты пугаешь ангелов...

А сейчас... ты знаешь, Искэндер, мы не боимся испугать кого-либо и не боимся испугаться сами.

Как только нам сказали, что будет вечер, мы всей комнатой записались в число его участников.

Первая репетиция была назначена в общежитии студентов Татарского коммунистического университета. Ты уже был там, когда мы пришли. Мы шепотом заговорили о тебе.

— Кто это?—спросила я.

— Наш режиссер, артист Искэндер,— ответил один из студентов.

Не скрою — ты многим нашим девушкам понравился. А Лиза, увлекающаяся и восторженная Лиза, прозванная нами за это «градусник», так прямо и заявила:

— Ну что за прелесть! Вот бы расцеловать его!— и пошла к тебе.

Мы удивлялись ее смелости, а сами скромно держались в стороне.

Вернувшись, она рассказала нам о цвете твоих глаз, о голосе, об улыбке, обо всем, что успела рассмотреть в тебе.

Ты действительно был красив. А наше воображение сделало тебя еще лучше, еще прекраснее.

Мы смотрели на тебя с обожанием. И чем больше мы скрывали это, тем сильнее влекло нас к тебе. Мы видели в тебе воплощение всего прекрасного. Ты казался



нам и умным, и талантливым. Ты был актером. Для нас это не звучало как профессия. Нет! Это слово означало призвание, поэзию, мечту. Поэтому-то на твоих репетициях бывало так много девушек.

А в те дни, когда не было репетиций, мы, собрав последние гроши, бежали в театр смотреть тебя. О! Тогда я еще больше стала тянуться к тебе.

Любовь дает человеку радость и силы. В те дни, несмотря на бессонные ночи, я не чувствовала усталости. С радостью встречала я каждый день, я ждала, когда наконец, будет наш вечер, к которому готовила «Песню о жизни».

Давно я носила ее в голове. Песня сложилась как-то сама собой. Но мотив не рождался. Я чувствовала его, он витал близко, вот-вот готовый появиться, как забытое слово, как имя, которое стараешься вспомнить. Но мотива не было. И я не могла петь.

Твоя улыбка, твой ласковый голос, твои голубые глаза окрылили меня. Они дали моей песне музыку. В нее, в эту песню, я вложила всю нежность, всю силу своего чувства к тебе.

Оттого ли, что я так долго и много думала о ней, песня завладела мною, она звучала во мне. И где бы я ни была — в городе, в лесу, на занятиях, она не оставляла меня. И мне казалось, что она становится еще лучше. Будто она согрелась на утреннем солнце, впитала в себя запах полевых цветов, будто освежили ее вечерние ветры.

И вот настал наш вечер.

Труды мои не пропали даром. С каждым звуком росла моя песня, ширилась, как родник, выбившийся из-под зеленой травы и в пути превратившийся в большую реку...

Меня вызывали, а я, смутившись и не зная, что делать, убежала за кулисы и спряталась между декорациями.

В это время кто-то подошел ко мне. Моего лица, моих волос коснулись руки, и, затаив дыхание, услышала я знакомый голос...

Это был ты.

Я не ответила тебе. Я смотрела в твои глаза, и у меня не было сил говорить.

И навсегда запомнилось мне, как я, не отрываясь, смотрела на тебя, как чувствовала, что краска заливает мое лицо, как от сознания этого я еще больше краснею...

Ты был так близко... Желание убежать охватило меня. От счастья, от радости хотелось мне бежать... Но я боялась тронуться с места. Теперь смешно вспомнить. На левом чулке была дырка. Перед выходом на сцену я тщательно запрятала худую пятку в туфлю, а теперь предательская дырка вылезла наружу. Я ругала себя за то, что не успела заштопать ее, за неряшливость и боялась пошевелиться, чтобы ты не заметил.

Ты улыбался.

После концерта были танцы. Ты пригласил меня на вальс.

— Галия, вы созданы для сцены!— говорил ты.— Вы не знаете себя, вы хотите погубить свой талант в анатомичке, в больнице. А я предсказываю вам блестящее будущее. Вы станете знаменитой певицей. Вас будет слушать вся страна!..

Ты много говорил тогда, Искэндер! Ты сказал:

— Я люблю ваши глаза, Галия! Я вижу в них себя...

Ты сказал, что готов быть моим другом и наставником в музыке. Ты предложил проводить меня, Искэндер.

Я с радостью пошла с тобой.

Нас провожало много взоров. Мне особенно запомнились черные глаза нашего студента Вэли Сафиуллина, о встрече с которым ты пишешь теперь в своем письме. Он любил меня. Правда, Сафиуллин об этом никогда не говорил, но его задумчивый вид, его робость при

встречах со мной, его глаза, внимательный взгляд, которым он провожал меня, говорили яснее слов.

И знаешь, Искэндер, меня внутренне тянуло к нему. Тогда я не отдавала себе отчета в том, что же это — дружеское чувство или что-то иное, большее. Но теперь, когда столько лет прошло с тех пор, когда мы все стали зрелыми, знающими жизнь людьми, я почти верю в то, что Вэли Сафиуллин был для меня не только другом. Мне думается, что он, именно он пробудил во мне первое чувство любви. Я тогда многого не понимала, но уже тогда с волнением следила за его взглядами. Помню, как иной раз нетерпеливо ждала я, что он подойдет ко мне и скажет что-то такое прекрасное... Но он не подходил. Меня охватывало чувство разочарования, пустоты. Мне казалось, что что-то прошло мимо меня. И я злилась, иной раз говорила, сама того не понимая, дерзости Вэли, смеялась и трунила над беднягой Вэли, хорошим, добрым Вэли. И тогда я внушала себе, что в этом умном и серьезном юноше, лучшем нашем студенте, нет ничего такого, что может привлечь внимание девушки, что нет в Вэли мужества, отваги, смелости. «Мямля — вот кто он, — внушала я себе. — Таким он и останется, медлительным, нерешительным».

И когда мы в тот вечер выходили из зала, я подумала: «Зачем Вэли смотрит на меня, чего ждет, куда зовет?»

Искэндер! В тот вечер ты был очень ласков и заботлив. Голос твой был мягок, слова проникновенны.

Падал первый снег. Снежинки бриллиантами сверкали под луной.

Снежинки ты сравнивал с цветами. И как-то сразу заговорил о смелых, великих людях, которые живут необычайно глубокими чувствами, о людях, обуреваемых страстями. Ты говорил о литературе, о гениальности.

Я слушала тебя, затаив дыхание. Ты окрылил меня

своими словами. Мне казалось, что я поднялась высоко-высоко, до самых звезд.

В этот вечер, шагая с тобой рядом под руку, я была счастлива.

«Вечно любить его, быть его другом, жизнью!..»

Ты проводил меня до общежития. Я была готова до самой зари, до утра пробить с тобою. Но, сама не зная почему, сказала:

— Уже поздно, Искэндер, мне пора...

А потом не могла себе простить, что так рано ушла.

— Галия! — прошептал ты. — Галия! Я хочу, чтобы этот вечер не кончался никогда!

Ты говорил это, и руки твои уже обнимали меня.

Не помню, как наши губы встретились. Помню только, каким долгим и томительно сладким был поцелуй.

— Что вы! Не надо! Довольно! — шептала я, а сама желала твоих ласк еще и еще.

Не помню, как я поднялась по лестнице. Вступив в комнату, я взглянула в зеркало и впервые в жизни осталась довольна собой. Действительно, любовь украшает человека. Любимый и любимая всегда красивы.

На щеках моих пылал румянец, глаза горели. На плечи падали тяжелые черные косы.

— Тра-ля-ля-ля-ля! — воскликнула я.

Помнишь, Искэндер, как в любимой своей роли вихрем вылетала на сцену Ф. Ильская<sup>1</sup> с задорным и радостным возгласом: «Тра-ля-ля-ля-ля!».

— Галия! — поймала я себя на мысли. — Ведь все твое веселье и радость из-за Искэндера.

Я остановилась посреди комнаты.

— Ну что ж! — решила я. — А хотя бы и так. Пускай будет так. Тра-ля-ля, тра-ля-ля! — и тут же, подхватив стул, начала танцевать.

---

<sup>1</sup> Ф. Ильская — народная артистка Татарской республики.

Натанцевавшись, села за стол и стала думать о будущем, о том, как мы заживем вместе,— ты актер, а я врач, будем дружить, работать весело, счастливо...

Часа в два ночи вернулись подруги.

— О-го-го! Вон до чего дело дошло!

— Ну, ничего, ничего! Парень стоящий! — говорили они, многозначительно поглядывая на стол. Тут я спохватилась, но было уже поздно. Оказывается, предаваясь сладким мечтам, я испещрила лист вензелями и узорами, бесчисленно повторяя имя — Искэндер, Искэндер...

Да. В эту ночь я решила, что любовь моя к тебе безмерна, вечна. А Лиза, которая никогда и никого понастоящему не любила или, вернее, не признавала настоящей любви, на сей случай прочла стихи Гейне:

Старинная сказка, но вечно  
останется новой она.  
И лучше б на свет не родился  
тот, с кем она сбыться должна.

О! Я никак не могла согласиться с последними словами поэта: «Лучше б на свет не родился». Нет, нет, нет! Тысячу раз нет. Поэт неправ. Не берусь судить о его времени, но сейчас, в наши дни, мы не боимся любви, мы ищем ее, мы хотим ее, ждем, мы любим, любим смело, преданно, нежнее и искреннее, чем кто-либо и когда-либо.

Следующий день был днем отдыха. Я и Фатыма не спали всю ночь. Мы говорили о тебе. Ты помнишь Фатыму? Она и потом не покидала меня, часто заходила к нам, а уехав, еще долго продолжала писать.

Тогда, говоря о тебе, будто бы не придавая своим словам особого значения, осторожно, чтобы не обидеть меня, Фатыма сказала:

— Смотри, Галия, хорошенько подумай, так ли он любит тебя, в тебя ли он влюблен?

Я удивилась.

— Может быть, ему понравился твой успех, твоя песня, юность, с которой легко поиграть?

О! Я ничего не ответила ей. Что могла я сказать ей в ответ, когда ты был моей первой любовью, когда в тебе находила я лишь самое лучшее, самое прекрасное. Все в тебе было дорогим для меня.

О свидании мы не условились, репетиций больше не было, а увидеться так хотелось.

Я рано встала, оделась и, никому ничего не сказав, вышла на улицу.

Крыльцо, где ты меня поцеловал в первый раз, показалось мне теперь каким-то иным, особенно хорошим.

Я пошла по набережной. Куда я шла, зачем? Не знаю. Возможно, ты случайно сказал, что живешь на этой улице... Да, да... Кажется, именно так и было. Но как длинна улица, как много на ней домов?!

Я долго ходила по набережной, с надеждой поглядывая на окна.

«Не здесь ли живет он, мое счастье, моя радость! Что он делает сейчас? Думает ли обо мне?»

Вдали показался мост. Погода была в этот день теплая.

Я долго стояла на мосту. Сама не зная зачем, считала проходивших по нему людей. Когда я досчитала до ста, мне стало казаться, что прохожие оглядываются и смотрят на меня, и знают, зачем я сюда пришла... Вот идет еще одна пара. Должно быть, муж и жена. Он идет впереди, она поспевает за ним следом... Они идут, перебрасываясь торопливыми, отрывистыми фразами, будто каждый из них что-то бормочет себе нехотя под нос. Кто знает, быть может, в юности, ожидая завтрашних встреч, они проводили бессонные ночи, а утром нетерпеливыми взглядами торопили часы. А сейчас...

Искэндер! Меня и теперь не оставляют эти думы. Я часто спрашиваю себя: почему еще есть у нас плохие семьи?

Я читала о Карле Марксе воспоминания его дочери. В самые тяжелые минуты, — а сколько было таких в их жизни, — даже когда Маркса в двадцать четыре часа выселяли из города, они были бодры, чувство юмора не покидало их. А как они любили друг друга! Маркс гордился красотой своей жены. Великий Маркс, написавший «Капитал», открывший человечеству новую науку, находил время, чтобы собирать для своего друга — жены — прекрасные народные песни. По вечерам своим детям читал он «Нибелунгов» и Шекспира.

Его Женни помогала ему в работе. Она переписывала набело его книги. Она помогала ему издавать их. Они думали, они чувствовали как одно существо.

Искэндер!

Два дня, как письмо мое лежит недописанным. О чем я говорила?

Да. Есть хорошие семьи. Я видела их немало. Но хочется, чтобы все семьи были такими. А ведь есть еще людишки, которые легкомысленны в личной жизни. Они рано женятся, рано выходят замуж, а потом с такой же легкостью и поспешностью расходятся. Мол, не сошлись характерами! А расплачиваются за это дети. Вот тебе письмо двенадцатилетней пионерки Мойкиной.

Убедительно прошу всех работниц, жен рабочих и читателей журнала «Работница» помочь мне найти моего папу — Мойкина Ивана Петровича. Папа мой скрылся тогда, когда я появилась на свет. Его скоро нашли, он два года помогал моей маме и опять скрылся. Теперь вот уже десять лет неизвестно, где он.

Пионерка А. Мойкина.

Это страшный, обличающий документ. А уверен ли ты, что твоя дочь, Кадрия, не напишет тебе такого письма?

Пишу и представляю себе, как я тогда стояла на мосту. Вот они, ушедшие минуты. Я закрываю глаза и вспоминаю... Ко мне приближаются двое.

Какое счастье идти рядом с любимым! Они прижались друг к другу, они шепчутся, я догадываюсь — они говорят о любви...

Он сказал что-то, она еще ближе прильнула к нему. О, ужас! Что же это такое? Нет, нет! Я отказываюсь верить! Не может быть!..

Это был ты. Сколько бы я себя ни разуверяла, это был ты, ты, ты!

Не веря своим глазам, я шла за вами. Самые страшные мысли терзали меня. Ведь еще не успели остыть мои губы, согретые твоими поцелуями, а ты уже готов обнимать другую, кокетливо идущую рядом с тобой. Еще звучат в моих ушах слова, которые ты вчера говорил мне, а сегодня, сейчас ты повторяешь их другой. Какая низость!

О, Искэндер! Я любила тебя, я хотела любить тебя, только тебя одного... Но быть в твоих руках игрушкой, минутным развлечением...

Не замеченная вами, я шла следом до самого театра. Твой веселый смех, изящные движения, быстрый поцелуй при расставанье, которым вы обменялись с ней, — теперь для меня бесспорное свидетельство твоего легкомыслия, ветрености, испорченности. Но тогда? Глупая! Я была столь наивна и неопытна тогда, что не поняла тебя.

Прошли недели. Мы не встречались. Нужно ли писать о том, что пережила я в те дни?

Моя маленькая жизнь была полна лишений и невзгод. Сколько довелось мне видеть дурного. Восьми лет я осталась сиротой. Девяти попала на воспитание к родственникам — бездушным, черствым людям.

Детства у меня не было. Я нянчила чужих детей. Когда мне исполнилось тринадцать лет, родственники

посадили меня на телегу и чужой незнакомый человек увез меня далеко-далеко. Только потом я догадалась, что была тайно продана. Теперь тебе понятно, почему я так любила петь песню Залифы?

Мне нравилось, что ты внимательно слушал ее. Пела эту песню я по вечерам, сидя на подоконнике у тебя в комнате. За открытым настежь окном была вечерняя тишина. Перед глазами серебрилось озеро, и, как говорил ты, «...неслась печаль Залифы».

Закрой глаза, Искэндер, вспомни! Вот я пою. Если ты не позабыл моего голоса, песня долетит до тебя:

Мрачен при грозе Урал,  
Ветер с громом заиграл.  
Вся слезами залита.  
Плачет горько Залифа.

Залифа! Ведь помнишь ты,  
Как растила ты цветы,  
Как покинула свой сад,  
Как тебя твой продал брат.

Участь Залифы ждала меня. Одно воспоминание о том, что я была продана незнакомому человеку, приводит меня в трепет.

Я вовремя убежала от него. Бежать было страшно, но оставаться — страшнее.

Я беспризорничала. Мыкалась по свету. Без вины была виновата. Но, веришь ли, все это было перенести легче, чем твою ложь.

Ложь любимого тяжелее всего. Есть люди, которым этого не понять. Они слишком легкомысленны и поверхностны. Глубокие переживания им чужды. Они на все смотрят, как на пустяки. Если бы они смогли прочесть то, что я пишу, они посмеялись бы надо мной. «Ах, — сказали бы они, — какие сентименты, мещанские неж-

ности! Хочешь — живи, а не хочешь — уходи. Подумаешь, переживания!..»

Я думала о Герцене. Человек огромного ума, в котором и тени мещанства не могло быть, человек, к голосу которого прислушивался целый мир, не побоялся выступить в печати, когда пошатнулась его семейная жизнь. Он пригласил друзей устроить общественный суд и решить, кто прав: он или шарлатан из немецких поэтов, навязывавший его жене дешевую любовь.

Когда мы все-таки встретились во второй раз, я спросила тебя, кто была эта дама.

— Просто знакомая, — сказал ты. — Живет по соседству.

А потом:

— Ах, дорогая, так ты задумала ревновать?.. Напрасно, в моих с ней отношениях ничего такого нет, что могло бы породить подозрения, недоверие с твоей стороны.

Я поверила тебе. Ведь мне самой так хотелось обмануться, так хотелось верить тебе, а не себе.

Люди такие, как ты, умеют быть убедительными даже во лжи. Развращенные, они ухитряются одно слово «люблю» повторять нескольким женщинам почти одновременно. Бывают такие мужчины, которые верят в свою ложь и не могут отличить правды от обмана. Когда они произносят свое «люблю», им, равнодушным и развращенным, начинает казаться, что они и взаправду любят. Они находятся во власти настроения. Низкие, они далеки от понимания настоящей любви, настоящего чувства. Они слепы и поэтому не в состоянии увидеть прекрасное.

Почему это? Почему вы щеголяете пошлостью и непостоянством? Причин, конечно, много. Женщина — игрушка, забава от безделья, от скуки — это взгляд, оставшийся еще от прошлого. «Рви цветы, пока цветут...»

Пользуйтесь, мол, все равно все увянет, погибнет, Это не любовь. Это ложь. Это пошлость такая же, как и сама песня. А настоящая, подлинная любовь там, где труд, где «он» и «она» вместе живут, работают. Настоящая любовь была у девушек, предпочитавших смерть жизни с нелюбимым, у жен декабристов, рискнувших, невзирая на все испытания, идти за мужьями в далекую Сибирь.

Когда я училась в университете, пришлось мне бывать в Заречном — фабричном районе Казани. Там я обучала грамоте рабочего Галиакбер абы<sup>1</sup>. Вот где была настоящая советская семья!

— Самому неловко оставаться неграмотным, — сказал мне Галиакбер абы, когда мы впервые встретились. — Детей вырастил, специалистами стали, а сам я ни то ни се!

До революции Галиакбер абы работал на Бондюжском заводе, потом перешел на Алафузовский. Работая по десять-двенадцать часов в сутки, он едва мог прокормить семью. Жили они тогда впроголодь. В холодном бараке умерло у него трое детей. А сейчас? Не хочется уходить из его уютной, теплой квартиры: три солнечные комнаты, ванна, отдельная кухня. Старший сын его — командир Красной Армии, другой сын — инженер, одна дочь — инженер-химик, младшая — студентка музыкального техникума.

— Может, действительно толк будет? Давай, учи! — сказал он, садясь за книгу.

Иногда Галиакбер абы рассказывал мне о своей жизни, а я — о себе.

— Оба мы с тобой одной яблони яблоки! — улыбаясь, говорил он.

За три месяца Галиакбер абы научился читать и писать. Лаской и любовью он заставил учиться свою

---

<sup>1</sup> А б ы — дядя.

жену. Если бы ты видел радость этих людей — помолодевших, дружных!

Я к ним привыкла и даже привязалась. Они обращались со мною как с дочерью. А ведь я была совсем одна!

## *Письмо второе*

Искэндер!

Первое письмо так и лежит неотосланным. Мне хотелось в нем объяснить тебе все, что меня волновало, волнует и теперь, о чем я не могу не думать. Хочется высказать все... А получается длинно, бестолково, и, главное, то, что хотелось сказать, остается невысказанным. Молчать же нет сил. Твое письмо растревожило меня, и хочется говорить, говорить, нет, больше — кричать.

Не знаю, пошлю ли я это второе письмо. Я начинаю думать, что пишу это больше для себя, чем для тебя. Пытаюсь восстановить прошедшее, не просто вспомнить, а как следует отдать себе отчет в том, что сделано и как поступать дальше.

— Я люблю тебя! — сказал ты тогда, во вторую нашу встречу.— Я хочу начать жить по-новому. Не скрою, я знал много женщин. Но вся эта жизнь, наполненная мимолетными увлечениями, мне надоела. Я хочу любить только одну. Хочу любить тебя, именно тебя. Пойми, родная, это не слова. Я зову тебя, Галия! Слышишь, зову. Решай же!..

«Чтобы любить хорошо, надо любить много», — сказал Анатолий Франс. Ты человек сцены, подумай, не был ли ты актером и в любви? Не любил ли ты столь много, что потом потерял способность искренне любить? Иначе как понять твою фразу: «Все мои прошлые увлечения

были для того, чтобы я мог теперь крепче любить тебя. Твоя большая любовь уничтожит все старое во мне!..»

Я поверила тебе. Да и как могла не верить я, юная, мечтательная? Как могла я не верить, когда твои слова были полны страсти, когда они вскружили мне голову, когда так хотелось верить? К тому же я читала, я знала из книг, что прошедшее, даже глубокое чувство, многими мужчинами забывается бесследно. От пережитого остается лишь воспоминание, не приносящее ни боли, ни печали. Люди, подобные тебе, за несколько лет способны забыть имена дорогих для них в прошлом женщин. Такие донжуаны, как ты, сегодня на коленях клянутся, что готовы умереть за «нее», что любовь свою унесут в могилу, чтобы завтра волочиться за другой.

Перед знакомыми они хвастаются «победами» — не именами, нет! — имена уже забыты, они перечисляют другие признаки, например, национальные: русская, полька, еврейка, белоруска, украинка, татарка и пр.

Я любила тебя. Ты мне казался совсем иным, не тем, каким ты был на самом деле. К тому же ты прикрывался личиной любящего человека.

Мы стали встречаться снова, встречаться чаще, часто. Каждая встреча была для меня желанной.

Когда я оставалась одна и думала о тебе, то иной раз меня пугала мысль о том, что наши встречи будут в ущерб моему будущему, моим занятиям. Но любовь воодушевляет. После встреч с тобой я испытывала прилив сил, я училась с вдохновением, самое трудное в работе преодолевала с легкостью.

Да! Любовь сильна. Она несет с собой человеку победу.

Незаметно прошла зима. Вот и весна. Весна цветов, весна чувств. В садах зацвела сирень, запели соловьи.

Улицы стали иными, по-весеннему шумными. Вечерами, когда светила луна и звезды мерцали в вышине,

учащенно бились сердца и губы на множестве языков шептали: «Люблю».

Никогда не забыть мне этой весны. Тогда я окончила рабфак и соединила свою жизнь с твоей.

А помнишь наводнение? Волга разлилась необъятным морем. Вода затопила набережные, улицы. О, это было необычайно красиво!

Смешно устроена жизнь. Стихия, от которой мы не могли оторвать восторженных взоров, была бедствием.

По улице, как по реке, плыли на лодках люди. Мальчишки ходили по крышам домов.

И в эти дни я, как всегда, спешила к тебе. Лодки не было. Но это не могло остановить меня. Босая, подбрав рукой юбку, переходя улицы вброд, я шла к тебе.

Наши встречи стали постоянными, обычными. Каждый раз меня уже ждали на столе сладости, чай. Моя застенчивость исчезла.

В один из таких вечеров ты попросил меня спеть мою любимую песенку «Гишкем»<sup>1</sup>. Полная любви, я спела ее с искренним чувством. После этого ты стал называть меня Гишкем.

В эти вечера мы много читали, разучивали твои роли, катались на лодке. Когда ты бывал занят в театре, я оставалась дома одна, читала книги и ждала тебя.

Любовь обогатила меня. Ты и твои друзья казались мне людьми необычайно умными, знающими. Чтобы быть равной вам, я упорно работала над собой: много читала, старалась узнать как можно больше нового. А ведь сколько необычайно интересного окружает нас!

Особенно любила я читать биографии великих людей, воспоминания о них. И по сей день читаю я эти книги с увлечением. Они многому могут научить нас: как жить,

---

<sup>1</sup> Любовь моя.

как в борьбе достигать поставленной цели, как свою жизнь прожить достойно и с пользой.

Кругом было столько нового, захватывающего и интересного. Все хотелось узнать, пережить. Но на многое не хватало ни сил, ни времени. Заботы по дому, мелочи отнимали немало времени. Это болезненно ощущают те современные женщины, которые стремятся к культуре, к труду.

Не думай, пожалуйста, что я говорю о женщинах с папироской в руке. Они лишь внешне подделываются под нашу эпоху — мужественную и деловую.

Нарочито грубые, манерные, они ломают в себе то, что свойственно женщине. Внешне они настолько перестали быть женщинами, что им остается только отрастить бороду и усы. Когда, стуча по плоской груди, они говорят: «Мы не мещанки, мы новые, современные женщины!» — они лгут.

Я знаю многих русских, грузинских, украинских, еврейских, татарских и других национальностей женщин, работающих не хуже мужчин. И в то же время они не перестают быть женщинами, обаятельными женщинами. Совсем недавно они носили еще чадру, паранджу, чачван. Теперь они талантливые врачи, инженеры, летчицы, профессора, агрономы, колхозницы, работницы и — женщины.

Я не боюсь признаться, что хотела быть не только передовой советской женщиной, но и просто... красивой.

Когда ты возвращался из театра, я встречала тебя, тщательно прихорошившись у зеркала, хотя и провела весь вечер за книгой. Мне хотелось нравиться тебе.

Ты был внимателен. Иной раз ты так спешил ко мне, что даже не успевал снять грим.

— Гишкем! — говорил ты. — Сегодня я играл, как ты советовала, думая о любви к тебе. Ты дала мне радость, я вложил ее в свои слова, согрел ею роль. Гово-

рят, я играл особенно хорошо. Друзья и знакомые пожимали мне руки, зал неистовствовал. Мне аплодировали, кричали. А я,— смеясь говорил ты,— спешил к тебе!

Иногда и я ходила в театр. Твои удачи радовали меня. Когда ты не имел успеха, мне было обидно.

Но ты, Искэндер, был актером не только на сцене. И в жизни ты играл. И, пожалуй, в жизни у тебя ролей было больше, чем в театре.

Раз уж я начала — попытаюсь написать все.

Окончив рабфак, я переехала к тебе. Небогато было мое студенческое приданое: белье, одежда, книги.

Осенью я поступила на медицинский факультет.

До осени наша жизнь шла хорошо, дружно.

А осенью среди зеленой листвы нашей любви уже были заметны желтые листья.

С чего все это началось? Прежде всего, ты не хотел, чтобы я училась дальше.

— Если не хочешь быть актрисой,— говорил ты,— тогда будь хозяйкой. Довольно учиться. Того, что ты знаешь, вполне достаточно.

В этом первом столкновении в твоих словах слышался мне голос наших предков.

Я готова была сделать для тебя многое. Но принести в жертву твоему капризу свое будущее я не могла.

Я знала цену свободы и цену желаний. Несмотря на твои угрозы, я поступила на медицинский факультет. Сцена меня не влекла. Я не чувствовала себя предназначенной для нее. Не находила в себе особых дарований. Я напевала песни — для дома это было хорошо, но избрать театр своей профессией у меня не было оснований. С этого столкновения и началась наша размолвка.

С начала учебного года мы, хотя и жили вместе, в одной комнате, но встречались только по ночам. Ты оставался в постели, когда я уходила в университет. Ве-

черами, устав после напряженного дня, я засыпала, не дождавшись тебя, потому что теперь ты приходил из театра не в двенадцать, как раньше, а в два-три часа ночи.

О наших отношениях, принявших такой оборот, я думала очень много.

Меня пугала твоя мрачность. Я чувствовала, что с каждым днем все больше и больше колеблются устои нашей семьи. Нужно было что-то делать.

Я решила вести «Дневник семьи», куда заносила все хорошее и дурное, все мелочи нашей совместной жизни. Этим надеялась я искоренить зло — прочтешь, и все станет ясным. Дневник этот и сейчас хранится у меня. Я открываю его первую страницу:

Искэндер!

И в наше время семья — необходимая ячейка общества. Надо отрешиться от несоветского понимания вопросов быта, надо построить крепкую советскую семью. За нездоровую семью мы ответим не только перед собой, но и перед детьми, будущим поколением.

Подумай, милый, над этим. Если в семье разлад, это отражается на работе. Пусть эта тетрадь будет зеркалом нашей совместной жизни. В ней ты увидишь отражение того, что нужно изжить и чему надо следовать.

Возможно, что это романтика. Пусть! По-моему, подлинная любовь без романтики невозможна, а раз это так, значит, нет и семьи без нее.

Искэндер!

В эту тетрадь я буду записывать все свои думы. Читай их внимательно.

Пиши сам, о чем думаешь. Иной раз с помощью пера выразишь больше, чем в словах...

Галия.

Так начинался «Дневник семьи». Но ты только однажды заглянул в него.

В те годы слово «мещанство» было модным. Танцы, духи, цветы, галстук, хорошее платье... Все это принято было считать мещанством. Следуя моде, ты мой дневник тоже счел мещанством. Ты так и написал в нем:

Галия! Мне не нравится твоя затея. Этот дневник — полнейшее мещанство. Знай, что семья дневником не строится. Лучше уничтожь его как можно скорее. Если кто-нибудь увидит этот дневник — нас засмеют. Для создания настоящей семьи надо немного. Разгадай мой характер, люби меня, будь внимательна к моим желаниям, помогай мне в работе. Вот и все. Этого вполне достаточно.

*Искэндер.*

Жаль, что ты больше ни разу не поинтересовался дневником. Тебе я написала такой ответ:

Ошибаешься, мой глупыш! Дневник — это не мещанство. Это только твой страх: «нас засмеют». Как это смешно! Я думала, что ты — сложный, что тебя трудно понять, а на самом деле ты прост до необычайности: «разгадай мой характер... будь внимательна к моим желаниям...» Я, я, меня, мое... Почему это тебя? Не лучше ли взаимное внимание, поддержка? Ведь думать так, как ты пишешь, равносильно тому, что сказать: «Подчиняйся мне! Будь моей рабыней!» А ведь это так старо. Неужели я ошиблась в тебе?

*Галия.*

Да, ошиблась.

Мы оба с тобой не понимали тогда подлинных наших чувств, не думали о том, могут ли они быть основой семьи. Чтобы создавалась новая советская семья, необхо-

димо не только соответствие физическое, но и идейное. Отсутствие любого из этих условий вело к постепенному разрушению семьи. Рождались ссоры, родители оставляли детей, люди, «любившие» друг друга, становились чужими, врагами.

Так вот получилось и у нас. Мы понравились друг другу. Внешность каждого из нас была привлекательна. Мы «влюбились». Сошлись, не подумав о том, насколько наши внутренние миры соответствуют друг другу. С первых же дней у тебя стали проявляться отжившие взгляды на жизнь, на любовь, на жену. Это выражалось в твоём отношении ко мне, в мелочах.

Вскоре я забеременела. Беременность послужила причиной второго нашего крупного столкновения.

Сначала ты сделал кислое лицо. Дня два-три ты отмалчивался. Потом вдруг сразу стал ласковым, говорил, что любишь... На сцене, может быть, это и сошло бы, но в жизни получилось фальшиво. Я поняла, чего ты хочешь. Ты хотел, чтобы я сделала аборт. Но уговоры не помогли. Тогда ты переменял тон.

— Мы еще молоды,— говорил ты,— тебе нужно учиться, кончить университет. Я артист, человек творческого труда. Ребенок будет для нас обоим обузой, он свяжет нас по рукам и ногам. Если любишь, если хочешь жить со мной вместе — не рожай. Я не выношу детей.

Я отказалась наотрез. Никогда я не пойму, какое удовлетворение находят люди в семье, в которой отсутствует основа ее — дети. Я знаю женщин, которые в погоне за личным покоем и мимолетными наслаждениями жертвуют своим здоровьем, идут на аборт, калечат себя.

В дни отдыха, когда отцы и матери со своими детьми выходят на прогулку, они, жалкие, бездетные люди, идут со своими собачками.

Они прикрываются громкими словами — цивилизация, культура.

А я хотела, мечтала родить сына, героя. О, есть ли

в мире хоть один человек, который смог бы рассказать о сладких мечтах женщины, впервые почувствовавшей себя матерью!

Когда беременность стала для меня очевидной, я пыталась в мечтах угадать будущее своего ребенка. То видела я его смелым полководцем, то известным инженером.

Иной раз думала я, что у меня будет дочь. Я восхищалась ее красотой, дарованиями. Мне грезилось, что она будет художницей. Картины, созданные ею, должны были быть необыкновенными.

Я родила дочь.

С рождением дочери ты стал неузнаваем. Однажды ты все-таки удосужился осведомиться о моем здоровье, но весь вид твой, глаза твои выражали одну мысль: «Вот беда стряслась!»

Бывают мужчины, которые с появлением ребенка бросают свои семьи, покидают родные места и живут скрываясь. Ты никуда не уехал, ты не бросил меня. Но что толку в том, что ты остался в семье?

Появились новые заботы, понадобилась няня, квартира стала мала.

— Опять не выучил роль!— раздраженно говорил ты.— Разве это жизнь? Разве можно при таком геме и реве работать?

Шли недели, шли месяцы. Ты никогда не брал на руки своего ребенка, не ласкал его. Ты ходил мрачнее тучи.

Бедная моя дочурка! Уже тогда я считала ее сиротою.

— Дездемона!.. Розамунда!.. Офелия!..— насмехался ты, когда ребенку нужно было дать имя.

В мои раны ты щедро, пригоршнями бросал соль. С каким сарказмом ты произносил эти имена!

«Тебе ли, несчастной татарке, воспитывать Офелий!»— казалось, говорил ты каждым своим движением.

И этого я не прошу тебе никогда. Как только в нашем доме раздался первый детский крик, ты начал издеваться над тем, что я татарка.

— Татарки не умеют красиво любить,— говорил ты своим друзьям, не щадя меня.— Они не понимают тонкости подлинного чувства.

— Татарка способна только на то, чтобы родить. Чувство материнства заглушает в ней все. Она все свое отдает ребенку, а сама остается пустой.

Так говорил ты тогда.

Ты негодовал и по поводу того, что я занимаюсь общественной работой.

— Черт знает что!— ворчал ты.— Мне надоела эта погоня за ветром. Не понимаю, зачем тебе нужно куда-то ходить, кого-то чему-то учить? Ведь тебя никто не заставляет, а ты ходишь. То и дело собрания. Неужели не нашла ничего лучшего?

И, наконец, начинал приказывать:

Кроме университета, куда бы то ни было ходить запрещаю! Сиди дома.

Бросить общественную работу я не могла. Правда, в те годы я многого еще не понимала, но твердо верила в то, что есть люди, которые живут не так, как жили мы. Я знала, что уступить тебе — это означало бы идти назад, закабалиться, погибнуть. Мне было трудно справляться со всем, с учебой, с заботами по дому. Мелочи отнимали столько сил, времени.

Но я не бросала работы. Я хотела стать человеком развитым, знающим, полезным, способным на настоящее дело.

Это стремление вперед, моя целеустремленность помогли мне впоследствии легче перенести личное горе.

Кадрия! Так назвала я свою дочь. Кадрия — бесценная, дорогая. Это имя мне казалось лучшим. В нем я хотела высказать то, что чувствовала к ребенку,— любовь.

— Ка-дри-я! Ха-ха-ха-ха! — смеялся ты. — Подумаешь, какая бесценная!

То, что было дорого мне, было безразлично для тебя. Для Кадрии я жертвовала своим сном. По ночам вставала я, чтобы сменить пеленки. Ходила с дочкой по комнате среди ночи, как лунатик. Ведь я уставала за день. А ты, Искэндер, если и просыпался на крик ребенка, то вместо того, чтобы помочь или хотя бы узнать, не болен ли он, ворчал, что мы мешаем тебе спать. Я уходила на кухню, чтобы не слышать твоих упреков. Так, на моих руках, ребенок утихал. Но тебя это не волновало.

— Жизнь — забавная штука: годом раньше я был сам себе хозяин, а теперь приходится содержать семью в четыре человека.

— Все девушки хороши, но откуда же берутся плохие жены?

Эти пошлые слова — твои слова, Искэндер. Ты любил остроумие дешевое, плоское. Зачем? С какой целью ты говорил это своим друзьям, но обязательно при мне? Чтобы задеть меня? Неужели ты все позабыл? Ведь ты любил меня когда-то. А теперь думал, что я глупа, бесчувственна, ничего не понимаю. Но я понимала все. Мне было очень больно тогда. Однако я скрывала боль, стараясь все твои несправедливые и оскорбительные выпады обратить в шутку. Ведь ты был отцом моей дочери.

Знаю, тебе тоже было нелегко, но ты ни разу не пытался хоть сколько-нибудь улучшить наши отношения. Все мои попытки были тщетны. Ты не обращал внимания. Ты умел только одно — жаловаться на большие расходы, на отсутствие покоя. Без всякого стеснения ты требовал от меня отчета в истраченных деньгах, в каждом гроше.

Не сердись, Искэндер, за мою прямоту. Ведь тогда я ни разу не говорила тебе об этом и не упрекала тебя твоим происхождением и воспитанием. Правда, твое поведение было мучительным для меня. Тяжело мне было

видеть, что ты совсем не тот, каким казался в первые дни нашего знакомства.

Я пыталась найти причины этой перемены. И, не находя, молчала. Но теперь я могу оглянуться назад: когда мы стали взрослыми, я многое поняла. Теперь я иначе сужу о жизни. Многое мне стало ясным. Как не сказать тебе, что ты тогда был только сыном своего отца — муэдзина<sup>1</sup>. Боясь передать лишнюю копейку, ты трижды пересчитывал деньги на молоко для ребенка. И я краснела и не знала почему. Потому ли, что мне стыдно было, что ты не доверяешь мне, или потому, что мне было стыдно за тебя? Ты считал каждую копейку, а ведь нередко ты с кем-нибудь из твоих случайных друзей, которых ты приводил в дом, просиживал до полуночи за бутылкой вина.

Все мои намеки пропадали даром. Ты их или не понимал, или делал вид, что не понимаешь, а сказать прямо я не решалась. Я пыталась внушить себе, что сразу нельзя создать хорошую семью, что надо вооружиться терпением. То дурное, что приносил мне каждый новый день, я пыталась считать случайностью и преходящим явлением. Втайне я думала: «В Искэндере есть много и хорошего. Надо подождать. Со временем дурное в нем исчезнет, и тогда мы заживем на славу». Но тут же я ловила себя на мысли, что все это самообман.

Всеми способами я пыталась наладить наши отношения. Была особенно внимательна к тебе, заботлива. Пробовала знакомить тебя с настоящими людьми — нашими студентами, с Галиакбер абы, думала сама поближе познакомиться, узнать и сдружить тебя с теми артистами, которых считала лучшими. Но ты все дальше и дальше отходил от них, предпочитая общество малопривлека-

---

<sup>1</sup> Муэдзин — духовное лицо, соответствует примерно дьякону в русской церкви.

тельных людей. В заботе о семье я брала работу на дом: писала лозунги, плакаты. Когда это не помогло — уволила няню.

Кадрию пришлось отдать в ясли.

Теперь, вспоминая, сама удивляюсь, как перенесла все это. В восемь часов утра, захватив книги, с ребенком на руках, торопилась я в ясли. Как назло, стояли страшные морозы. Бывали буранные дни — снег, ветер. Боясь простудить дочь, я не шла, а бежала. А потом — на занятия. Уставала я страшно. Болезни переносила на ногах. Будь иначе, наверное бы слегла. А ты, Искэндер, в эти утренние часы сладко спал. Ты не только не помогал мне, но еще измывался.

— Кончится ли когда-нибудь эта сумасшедшая жизнь! — ворчал ты. — Сегодня ты опять ушла, не приготовив мне завтрак!

Выходные дни были днями радости. Правда, ты, как правило, дома не сидел. Ты уходил «пройтись» и возвращался поздно ночью. Да я уже привыкла к тому, что тебя нет. В выходные дни со мною была Кадрия. Я забавляла ее, ласкала вдоволь и всласть, писала ее дневник, тешилась мыслью, что, учась не хуже других, воспитываю такую чудную девчурку. И мою любимую песенку «Гишкем», которую не раз певала тебе, пела теперь Кадрии.

Ты знал, что я была одна. У меня не было близких родственников. Только товарищи по университету изредка, по выходным дням, посещали меня. Да иногда я сама с Кадрией уходила к Галиакбер абы. О своем горе я не говорила никому. Да и что сказать? А если спрашивали, то отвечала, что живем хорошо, дружно. Те, кто догадывались, не показывали вида.

Но молчать было тяжело. Желание поделиться с кем-нибудь, высказать свое горе, засевшее в груди, было нестерпимым. И, не решаясь никому рассказать, я доверила это дневнику моей дочери.

Разве можно измерить силу материнской любви? Слова слабы, песня суха, чтобы поведать об этом.

В переписке Ленина с родными есть незабываемые строки. Я читала эти письма, и чувства радости и печали сменялись во мне. Я радовалась глубине материнской любви, которой был окружен Владимир Ильич, его сыновней теплоте и заботливости о родных. Печалилась потому, что после этих писем еще острее чувствовала тяжесть одиночества, тяжесть жизни сироты без матери и отца.

Вспоминая свое детство, лишенное ласки и любви, я старалась крепче любить свою дочку, любить ее — за себя, за мать, за всех матерей, оставшихся без детей. Сможешь ли ты понять это большое чувство?

Ведь матери, павшие в борьбе за народ, лучшие и последние свои слова в последние минуты жизни посылали своим сыновьям и дочерям. Чтобы тебе было легче понять это чувство, я приведу письмо Ольги Дилевской, арестованной в 1919 г. в Тюмени и расстрелянной на ярмарочной площади белыми бандитами. Перед своим арестом Ольга Дилевская писала знакомой:

*«Александра Николаевна!*

Пишу вам с расчетом, что мое письмо Вы прочтете после моего ареста. Вам придется позаботиться об Ирине. Я знаю, что Вы сделаете это и без моей просьбы. Никто не знает, что может случиться. Вот только о чем я хотела просить Вас: когда меня не будет, ласкайте Ирочку, как это делала я, и утром и вечером, когда она будет ложиться спать. Быть может, она в этом отношении немного избалована, но мне невыносимо тяжело будет думать, что она лишена нежной ласки. Думаю, что в Вашем сердце найдется любовь нежная и для нее. Вот и все, что я хотела сказать. Слова тусклые и бедные,

и ни к чему их подыскивать. Чувство слишком глубоко и интимно, передать его не могу... Поймите и полюбите Иру...

*Ольга Дилевская».*

Я старалась заполнить пустоту и отсутствие настоящего чувства в наших отношениях. Под впечатлением этого письма я постоянно думала об Ирочке. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, стоит лишь закрыть глаза, как в моем воображении возникает ее образ. Я вижу ее здоровой и красивой. Сейчас 1934 год. Значит, с тех пор, как Ольга написала письмо, прошло пятнадцать лет. Теперь Ирочке должно быть девятнадцать-двадцать лет. Подумай только, каким жизненным уроком послужило ей письмо матери. Оно, наверное, пробудило в Ирине чувство неиссякаемой любви к Родине и бесконечную ненависть к врагу.

Где ты, Ирочка? Откликнись!..

Думы об Ирине обогатили дневник моего ребенка. Но ты, Искэндер, и этим дневником пренебрег.

— У меня нет времени заниматься пустяками, — сказал ты, когда я хотела рассказать тебе в дневнике о том, как растет Кадрия.

Мы стали далеки друг другу. А ведь ты был отцом моего ребенка.

О множестве вещей хотелось рассказать тебе! Хотя бы сейчас прочти несколько строк из дневника моей дочери. Я переписываю их для тебя. Быть может, они кое-что объяснят тебе.

Читай:

2 мес. 20 дней.

Кадрия стала понятливой. Когда к ней обращаются, отвечает широкой улыбкой. Когда приходит час кормления, она громко кричит и этим радует меня. Только Искэндер сердится, что она плачет.

3 мес. 10 дней.

Кадрия узнает меня и моих знакомых, которые часто заглядывают к нам. При виде незнакомого человека она внимательно смотрит на него, нахмурив брови, с опаской. Какая радость! Значит, дочурка уже хорошо соображает! Беспокоит только одно: она никак не может привыкнуть к отцу. Положим, Кадрия тут ни при чем. Виноват сам Искэндер. Он никогда не возьмет ее на руки и никогда не приласкает, говорит, боится уронить...

4 мес. 24 дня.

Сегодня выходной день. Все время с Кадрией. Вечером ходила к Галиакбер абы. Было так хорошо, точно у родных погостила. Купила Кадрии цветов, она любит светлые, яркие, блестящие предметы. Она уже начинает что-то лепетать — «бом-бом», — говорит она. Выражает ли этим свою радость, что сидит у матери на руках, или хочет сказать: «Знаю, мамочка, тебе тяжело. Потерпи, скоро я вырасту, буду большая, и тогда станет легко-легко».

6 мес. 20 дней.

Я пляшу, а Кадрия громко смеется. Играет в прятки со знакомыми, пряча свое лицо у меня на груди. Она уже сидит. Ее в яслях любят. Говорят, что она не плачет, сидит спокойно и играет своими ножками. Какая она у меня умница! Не захворала бы только.

7 мес. 18 дней.

«Эннэннэ», — говорит Кадрия. Мама! Сегодня день отдыха. Кадрия сидела около меня и играла, пока я правила заметки для стенгазеты. Она все время что-то болтает, ища себя за круглым зеркальцем.



10 мес. 20 дней.

У Кадрии прорезываются зубки. Тоскливым взглядом провожает меня дочка, когда я оставляю ее в яслях и ухожу. Когда я захожу за ней, Кадрия прижимается к моей груди, чтобы никто не отнял ее у меня. Гладит маленькими ручонками мои щеки и говорит: «Эннэннэ!» Больше всего любит играть с бумажками. Сегодня впервые Искэндер взял ее на руки, стал было говорить с ней, но, назвав сынишкой, сконфузился, а потом стал сетовать: «Почему ты не мальчик, дочка?»

Я не могу забыть его ошибки. Неужели где-то у него есть сын?

Опять тоска, тоска...

11 мес. 18 дней.

Сегодня почти весь день думала об Ирочке. Кто знает, возможно, и Ольга вела ее дневник. Милая Кадрия! Годы пролетят быстро. Скоро-скоро ты будешь большая. Родина наша растет скорее нас. Тогда легко ты найдешь желанного человека, тебе просто будет говорить с ним, настоящим человеком. В моих записках ты прочтешь мои мысли об Ирочке. Если случится, что я рано покину жизнь, найди Ирину, она заменит тебе меня.

1 год.

Маленькой гражданке страны Советов исполнился год. Ее премировали на конкурсе чистоты и здоровья. Я нарядила Кадрию в новое платье, накупила сладостей. Пришли друзья, поздравили. Только Искэндер позабыл о дне рождения своей дочери. Пришел в два часа ночи. Давно я не плакала. А сегодня...

1 год 2 месяца.

Кадрия ходит. Восхитительно играет в «ладушки». Как только увидит в руках у меня книжку, требует себе. Взяв, разглядывает рисунки, тянет меня, чтобы я рассказывала, любит играть со спичками. То разложит, то начнет укладывать в коробочки. Надо поискать, нет ли хороших игрушек в магазине.

1 год 4 месяца.

Кадрия больна. Скарлатина. Бедняжку положили в больницу. Каждый день до занятий и после бегу к ней. Врачи успокаивают, говорят, что Кадрия поправится. Дома пусто без доченьки.

1 год 5 месяцев.

Взяла Кадрию из больницы. Настроение у нее хорошее, но чувствую, что она сильно истосковалась. Не хочет уходить с колен, сидит, играет в прятки, льнет ко мне, смеется. А Искэндера болезнь дочери совсем не беспокоила. Тяжело сознаться в этом, но что поделаешь. Страшные мысли лезут в голову — уж не желал ли он смерти моему золотцу?

1 год 9 месяцев.

Вчера с Кадрией ходила на демонстрацию. Заранее приготовила для нее маленький красный флажок. Вначале она ходила молча, насупившись, видимо, ее пугали шум, громкая музыка, незнакомый народ, потом привыкла. Размахивала флажком, кричала «ура» и громко смеялась. Когда вернулись домой, Кадрия долго маршировала по комнате...

Искэндер!

Ты ни разу не заглядывал в этот дневник, пока мы жили вместе. Я просила тебя записывать свои наблюдения над ребенком, но ты молчал. А теперь ты умоляешь, чтобы я сообщила тебе о детях все, вплоть до самых незначительных мелочей.

«Во мне пробудилось отцовское чувство», — пишешь ты. Так ли это, Искэндер?

Эти годы ты молчал. Ты молчал упорно, последовательно. Ни единого движения ты не сделал, чтобы повидать детей. Своих детей. И вдруг ты расчувствовался, написал. Искренне ли это? Не подействовала ли на тебя встреча с Вэли Сафиуллиным? Может быть, ты просто взревновал, и разговорами обо мне потревожили твое, в некотором роде, «чувство собственности» — «моя жена», «мои дети»! Нет, Искэндер, и жена не твоя и дети не твои. Чужие для тебя это люди. Но, кстати, зачем Вэли приходил к тебе? И почему ты не пишешь об этом? Как он выглядит? Все такой же добряк и бука? Как бы я хотела повидать его. Вот уж у кого большое сердце!

Но прости, твое «отцовское чувство» требует ответа. Так слушай.

Дети мои живут и растут хорошо. Им не на что пожаловаться. Одна только печаль — нет отца. Хотя мы живем в деревне, но воспитание они получили не хуже, чем в городе.

Кадрия ходит на детскую площадку при МТС, осенью пойдет в школу. Жду не дождусь этого радостного часа. Она и сейчас уже умеет читать и писать. Любит рисовать, а особенно петь. Как она поет! Сегодня пришла домой с новой песенкой о Ленине. В свободные вечера мы поем вместе.

Глядя на нас, пытается подтягивать и Рафаэль. Но он еще мал. Ах, и шалун же наш Рафаэль! Он хорошо для своих лет говорит и так забавно рассуждает, что

я с удовольствием слушаю его. И от этого у меня становится на душе веселее.

Еще в прошлом году провела радио. Оно внесло к нам в дом много радости — слушаем Москву, Казань и другие города.

За хорошее обслуживание колхозников медицинской помощью райздрав премировал меня патефоном. Им всецело завладели Кадрия и Рафаэль. Часто к нам заходят соседи и знакомые: спорим, рассуждаем, веселимся. Здесь я нашла друзей, мы живем очень хорошо, дружно. Осенью собираюсь выписать из города пианино. Как видишь, жизнь не сломила меня.

Хотя было тяжелое время. Никогда не позабыть мне твоего злого лица в тот день, когда ты ушел от меня.

Вспомни, Искэндер, как ты себя вел, чего только не проделывал, как только не издевался надо мной, когда родился Рафаэль!

Есть такие вещи, которые не забываются. Я знала, что ты не любишь детей. В больницу я отправилась совершенно истерзанная тобой, твоим поведением. Роды были тяжелые. Родился Рафаэль. Я лежала и думала: «Сына-то он уж, наверное, полюбит!» А ты даже встречать не пришел. Домой меня привезли подруги. Французы говорят: «Человек больше всего страдает от тех вещей, которые с ним никогда не случаются». Мне казалось, что это сказано о тебе. Ты боялся неизвестности, завтрашнего дня. Тебя пугали дети. Ты себе сам создавал препятствия. Ты жил в постоянном страхе. Скажи, Искэндер, что тебя мучило? Может быть, ты сделал что-нибудь нехорошее? Изменился ли теперь?

В те годы ты был раздражителен, несправедлив. Не успела я оправиться после родов, как ты уже закатил скандал.

— Тебе, Галия, — кричал ты, — нельзя было выходить замуж за артиста. Ты не жена. Ты только мать. Пони-

маешь? Самка — и ничего более. Твое место в детском саду...

Я молчала. Что я могла сказать?

Потом, смягчившись, ты продолжал:

— Положим, я не виню тебя. Сам виноват. Судьба моя, проказница, видно, уж такова. Женился по глупости. Человек творческого труда, искусства должен быть свободным, а я погряз в семье, в пеленках. Дети — моя обуза. Я неудачник. С ранних лет меня считали неудачником. Я не могу, понимаешь, не могу так жить. Я сопыюсь и умру где-нибудь под забором. Пока не поздно — надо уйти. Я не могу жертвовать собой ради детей, будущее которых мне неизвестно! Прощай! Я тебя любил..., прости за все... Не ищи. Все равно не найдешь!

Это были твои последние слова. Ты сделал трагический жест, хлопнул дверью и ушел.

Я осталась одна. Я не остановила тебя.

Где-то в глубине души еще теплилось чувство к тебе. Ведь ты был отцом моих детей.

Ты ушел. Ты поступил низко, жестоко. Быть может, ты ждал слез, мольбы. Ничтожные люди любят раболепие, низкопоклонство, они любят унижать других. Нет, я не упала к твоим ногам.

В день твоего ухода все мое богатство заключалось в двух малышах. Были минуты, когда я хотела наложить на себя руки. Мысль о том, что дети останутся сиротами, удерживала меня. А друзья? Что бы сказали они обо мне?

Сколько я вынесла, Искэндер! Измученная, одинокая, без слез брела я по улице. С утра я спешила на занятия. Из дома выходила с сыном и дочерью. Сына сдавала в ясли, дочь оставляла в детском саду и бежала в университет на лекции, в клинику. В эти тяжелые минуты мне хотелось кричать, кричать на всю страну о родителях-беглецах, кричать о них, самых страшных

преступниках на земле. Были дни, когда я уже готова была бросить университет.

Мне все не верилось, что ты ушел совсем. Казалось, что ты вернешься, но ты не приходил. Мне сказали, что ты ушел из театра, что тебя нет в городе. Уж не из-за боязни ли алиментов ты решил скрыться?

Меня спасли ректор университета Даутов и секретарь парткома Николаев. И, конечно, Галиакбер абы. Вот где я нашла настоящие отзывчивые сердца. На всю жизнь сохраню я в памяти имена этих людей.

Узнав о моем горе, Галиакбер абы пошел к Даутову. Они, оказывается, когда-то вместе работали на заводе. Одновременно к Даутову пришли студенты хлопотать обо мне. Ректор не стал вызывать меня. Он приехал ко мне сам, вместе с Николаевым. Это была подлинная чуткость. Они были столь тактичны, что не спрашивали меня о моем семейном несчастье. Они жалели меня. Они говорили об учебе, о том, что трудно одной. Мне выдали пособие, увеличили стипендию, прикрепили ко мне сильных по успеваемости студентов, чтобы я могла наверстать пропущенное.

Галиакбер абы с женой часто навещали меня.

Так окончила я медицинский факультет. Сдав государственные экзамены, я пошла к Даутову и Николаеву, показала им зачетную книжку и сказала, что в их лице партии и правительству приношу мой кайнар рахмет<sup>1</sup>.

Весть об окончании университета в семье Галиакбер абы встретили радостно, даже устроили праздник. Веселью нашему не было конца.

Мой милый, родной Галиакбер абы. До чего же ты был добр ко мне! Не «абы», а «эти» — отец — звала я тебя в те дни.

---

<sup>1</sup> Горячее спасибо.

Через месяц, захватив детей, отправилась я в Адрас-ский район.

Перед отъездом мы пошли с дочкой в городской сад. Мне сказали, что там приезжая татарская труппа дает спектакль и что ты в нем участвуешь. Мне хотелось в последний раз взглянуть на тебя.

Меня не обманули. Ты был на сцене, ты выступал как раз в своей любимой роли.

Боясь, что ты заметишь нас, мы с Кадрией пришли к самому началу и сели в одном из последних рядов. Больше всего я боялась за дочь. Опасения мои оправдались. Она узнала тебя.

— Мамочка! — воскликнула она шепотом. — Да ведь это папа!

— Нет, золотце мое, это не папа, — сказала я. — Он только похож немножко, а твой папа не артист. Он далеко, в Москве он...

Не помню сейчас какой, но я нашла предлог, и мы ушли после первого же действия.

Искэндер! Ты причинил мне много горя. Ты едва не сломал мою жизнь. Я могла бы ненавидеть тебя. Но тогда, покидая Казань, в минуту отъезда я вдруг ощутила в душе необычайную пустоту. Я почувствовала, что окончательно распрощалась с тобой, потеряла что-то большое, значительное, без чего жизнь не имеет смысла.

Пароход отошел от пристани. Я стояла на палубе. В голове моей внезапно возникли слова слышанной где-то частушки:

Люди добрые, поверьте,  
Помню, что было...  
Расставанье хуже смерти —  
Его — не забыла...

«Довольно, Галия, брось! — сказала я себе. — Он не стоит этого». И посмотрела в спокойную даль Волги.

## Письмо третье

Искэндер!

Две недели тому назад я написала тебе два письма. Так они и остались неотосланными. Видно, пошлю их вместе с этим.

В своем письме ты спрашиваешь: как течет моя жизнь, вспоминают ли тебя дети, скучают ли по тебе и чем занимаюсь я сама? Благодарю тебя за твое внимание. Ты, конечно, понимаешь, как оно растрогало меня! Но я прячу свою обиду, я не хочу быть такой же, как и ты, и отвечаю.

Я живу в районном центре, в деревне Адрас. Здесь мне очень нравится. В Адрасе нет ничего от старой деревни.

Посреди деревни течет река. В ней с шумом и визгом купаются детишки, гуси, гусята, утки и утята. По берегам растут яблони, черемуха, вишни. Весной вся деревня в белых цветах, льется их медовый запах. На горе шумит лес. Березы, разодетые в майский наряд, сверкают белоснежной корой. В лесу, совсем недалеко от деревни,— не больше километра,— расположен дом отдыха. Яркий, полощется на ветру его флаг. Сюда из самых глухих и далеких уголков нашей Родины каждой весной съезжаются отдыхающие.

Ежедневно, с шумом прорезав воздух, пролетают над деревней стальные птицы. Мимо проходят поезда, доставляя нам письма и разные новости. Глядя на нашу деревню, утопающую в зелени и цветах, пассажиры приветливо машут платочками. В набухших от весенней влаги полях шумят тракторы. По шоссейной дороге проносятся легковые и грузовые машины.

С первых же дней пребывания в деревне мне пришлось столкнуться с трудностями.

Устроилась я в небольшой комнате при амбулатории. Врачебный пункт был в заброшенном состоянии. Здание

полуразрушенное, грязное, холодное. По вечерам в щелях выл ветер. До меня пунктом заведовал фельдшер. Вся его деятельность ограничивалась пьянством, продажей хинина и выдачей ложных справок. Кроме того, при его участии был украден государственный хлеб. Фельдшера арестовали. Но пока суд да дело, остальные медицинские работники пункта приучились бездельничать, распустились. На службу приходили, когда хотели, и уходили, не считаясь со временем. В деревнях, которые мы должны обслуживать, не показывались. Неопытная девушка, временно замещающая заведующего райздравотделом, бессильна была что-либо изменить.

«Что делать? — думала я, волнуясь. — Как тут работать?»

Я была в постоянном страхе за моих детей. Вместе со мной они жили в амбулатории и встречались там с больными, обращавшимися за помощью.

В райисполкоме никто не интересовался делами медпункта. Аптека была разорена.

«Бросить все и бежать!» — думала я.

Но, поразмыслив, решила не уезжать, а, собравшись с силами, навести порядок в своем хозяйстве.

С помощью рабочих МТС мне удалось отремонтировать амбулаторию, заставить заведующего аптекой приобрести необходимые медикаменты.

Фельдшер принимал больных кое-как.

— Что у тебя болит, тетка? — спрашивал он.

— Голова, милок, — отвечала она.

— Получай рецепт. Возьмешь в аптеке порошки, принимай по три раза в день.

— А у тебя что? — спрашивал он другого пациента.

— Ноги ноют. Видно, простудился. Да и желудок болит.

— Мазь получишь. Перед сном натрешь ноги.

Этим «диагнозам» и «приемам» я положила конец. Всем больным измерялась температура. Я их тщатель-

нейшим образом выслушивала и осматривала, завела карточки пациентов и т. д.

Но хотя ничего особенного я не делала, все эти необходимые для работы вещи встретили сопротивление со стороны сотрудников. Пришлось созвать собрание, разъяснить правила работы медпункта и даже приказывать. Кроме того, было составлено расписание выездов.

На первых порах меня пугал диагноз. Не имея еще врачебного опыта, я боялась, что буду ошибаться в распознавании болезней. А ведь с чем только не приходили ко мне!

На второй день моей работы привели шестилетнего мальчика с признаками психического расстройства.

— Давно болен? — спросила я.

— Вчера был здоров, — ответила мать ребенка, — а сегодня началось.

Я осмотрела его и растерялась. Что с ним? Посоветоваться не с кем. Мой новый фельдшер ушел, я одна, а ребенок беснуется, кричит, таращит глаза, размахивает руками. Поразмыслив, сообразила, велела искупать и закутать в мокрую простыню. Прописала успокаивающее. Через два дня он выздоровел. Оказывается, мальчик просто объелся белены.

Пришла уборочная пора. Всех своих работников я прикрепила к участкам по разным деревням. За это время произошло три события, в связи с которыми слово «доктор» стало звучать в устах местных жителей уже совсем иначе, чем до сих пор.

Семилетняя девочка Нафиса тонула в реке Адрас. Нафиса была подругой моей Кадрии. Они играли вместе. Поэтому я хорошо знала родителей девочки. Отец ее — механик базы Заготзерно, а мать — Зайтуна апа<sup>1</sup> — продавщица в газетном киоске. Жили они

---

<sup>1</sup> А п а — тетя.

душа в душу, радостно было смотреть, и вот вдруг единственная дочь, пойдя купаться, попала в омут. На крики детей сбежался народ. Нафису вытащили. Она была недвижима. В это время успела прибежать на берег и я.

Как сейчас помню: на земле лежит посиневшая Нафиса, губы черные, на ногах, между пальцами, еще мокрые травинки. У изголовья девочки в рыданиях бьется мать.

— Спасите! — кричит она. — Доктор, спасите ее! Ведь единственная она у нас!

Растерянный стоит отец.

Я сразу приступила к делу. Освободила рот и нос ребенка от воды и стала делать искусственное дыхание. Попробовала пульс, пульса не было.

Бедная Нафиса! Я часто видела ее, как она играла с Кадрией. Теперь Нафиса мертва.

Я, не переставая, делаю искусственное дыхание, от усталости у меня уже идут круги перед глазами. Мне начинает казаться, что это не Нафиса, а Кадрия... Маленькие, как лед, холодные ручонки ее... Силы возвращаются ко мне, с удвоенной энергией делаю искусственное дыхание. Кругом что-то говорят, до меня долетают обрывки фраз, но я ничего не слышу. Подбегает мать Нафисы. Ее увели, но она вернулась.

— Не мучьте ее! — кричит она. — Не мучьте девочку...

Продолжаю искусственное дыхание. Еще мгновение, и... мое сердце радостно забилося, кажется, я даже заплакала — у ребенка появились признаки жизни, изо рта пошла вода, дрогнули веки, появился слабый пульс.

Сейчас Нафиса и Кадрия играют в соседней комнате. Пойду приласкаю их.

...С тех пор прошло четыре года. А родители Нафисы и сейчас еще благодарят меня. Увидят ли издали, услышат ли мой голос, обязательно подойдут, спросят о здоровье, в сотый раз скажут, что благодарны мне.

А между тем ласковый взгляд их глаз и смех Нафисы — лучшая благодарность.

Второе событие произошло в соседней деревне. Однажды, рано утром, меня вызвали к тяжелобольной. Не прошло и часа, как я была там. Остановились возле одной избушки. Несмотря на то, что был разгар полевых работ, около дома собрались люди.

— Где больная? — спросила я, входя в дом.

— Вот, милая, — сказала старуха, указывая на нары. На них, укрытая тулупами, лежала молодая женщина. Пальцы ее судорожно впились в подушку. Я сбросила тулупы.

— Надо немедленно осмотреть больную. Пусть все выйдут. Откройте окна! — распорядилась я.

Посторонние вышли. Но старуха — мать девушки — все старалась отстранить меня.

— Ничего, ничего, — говорила она, — не надо тревожить дочку, она и так поправится.

Я измерила температуру больной — 39 градусов. Старуха все не унималась и все причитала, что, мол, не надо трогать больную, все само пройдет.

Не слушая старуху, я приступила к осмотру. Повернула больную к свету. Она была в крови. Старуха бросилась мне в ноги.

— Не погубите! Не выдавайте!

— Замолчи! — крикнула я. — Не видишь, что натворили?

У больной были неудачно протекавшие роды. Она рожала дома, без врача, без какой-либо медицинской помощи. Старуха во что бы то ни стало хотела скрыть беременность дочери. Послед не был взят, в результате — кровотечение, жар.

Сделав все, что было нужно, я приказала старухе:

— Больной необходим полный покой. Чтобы никто сюда не входил.

И вышла на улицу. Там меня окружили любопытные:

— Ну, как?

— Что сделали?

— Роды, что ли?

— А ребенок-то жив?

В сельсовете я рассказала о тайных родах. Пришел милиционер. Составил акт. Плача, старуха рассказала все:

— Сын мой, Габдулхак, в комсомоле работал, в газету писал. Говорят, будто пропечатал он что-то про богача Шакура и про его сынков — Низама и Гаяза. После этого уехал мой сын в город и там остался по сию пору. А этот злодей Низам начал гулять с моей дочкой. Говорил: «Женюсь на тебе обязательно». Магинур — дочка, значит, — поверила. А Низам-то, оказывается, ходил только затем, чтобы отомстить Габдулхаку. Прошло немного времени, и Низам, добившись своего, куда-то скрылся. Магинур забеременела. Спасаясь от позора, чего только не пила она: и травы, и лекарства. Когда увидела, что ничего не помогает, рассказала мне. Стали мы горевать вместе. «Что-то будет? — думала я. — Что скажут соседи, что скажет Габдулхак?» Сегодня на заре дочка разродилась. Ребенок был мертвый.

Ребенка мы откопали около бани. Я произвела вскрытие и подтвердила рождение мертвого ребенка. Больная вскоре поправилась, но я стала замечать, что над ее «позором» подсмеивались. Девушка не выходила из дому, стараясь не показываться на глаза людям. Встречая ее, соседи ехидно спрашивали:

— Ну, как, кулак-то ничего?

— И как это он тебя, сестру Габдулхака, обманул?

Зная об этом, я старалась быть с ней поласковой, пыталась утешить ее.

Она молчала. Но в глазах ее таилась злоба против всех и против меня.

«И чего ты вмешалась! — говорил ее взгляд. — Не

было бы тебя, умерла бы я и не испытала такого позора... А если бы жива осталась, никто ничего и знать не знал бы...»

Объяснения мои не помогли. Девушка возненавидела меня. Глубоко обиженная окружающими, осмеянная, она болезненно переживала свой «позор». Тогда я решила иным способом помочь ей.

Я написала письмо Габдулхаку. Написала прямо, так, как все было, и просила, чтобы он спас сестру, готовую наложить на себя руки, и взял Магинур в город. То ли письмо подействовало, то ли Габдулхак был чутким человеком, но через две недели Магинур была в городе, у брата.

Вскоре я получила от них письмо, полное дружеской теплоты и благодарности.

Третий случай — со стариком, приехавшим лечиться к нам в Адрас. Он уже давно болел. Худой, слабый, он перебывал во многих больницах. Кто-то из родственников написал ему: «Приезжай в Адрас, докторша тут у нас хорошая, она непременно вылечит тебя». Вот он и приехал в надежде на мою помощь.

Выслушала я его, легкие здоровые, сердце работает хорошо.

— Кушать не могу, дочка, — сказал он, — не принимает мой желудок пищи.

Пришлось засесть за книги. Просмотрела всю имевшуюся у меня литературу.

— Ну, — говорю, — бабай, ничего страшного. Боялась я, что рак у тебя, а обошлось без этого. Надо будет тебе все же съездить на рентген, а пока отдохни, соберись с силами. Я тебе дам хорошее лекарство. Потом уж в Казань поедешь.

Так и было. Начала я его лечить. Теплые ванны, лекарства, смягчающие пищевод, соответствующая диета. Больной начал лучше кушать, лучше спать. Уменьшились

боли. А вскоре (месяц прошел только) уже сам, приободрившийся, поехал мой старик в Казань.

Эти три случая из моей практики особенно окрылили меня.

«Не пропала учеба даром,— думала я,— есть и от меня польза людям».

А председатель райисполкома Галиуллин по-прежнему не обращал внимания на врачебный пункт. Смету на ремонт возвратил обратно. Не дал разрешения на переселение аптеки. Нам приходилось работать в клетушке. Буквально повернуться негде.

— Денег на ремонт у меня нет! — коротко отвечал он на мои настойчивые просьбы.— А насчет квартиры рано изволите нервничать. Где прикажете взять, если ее нет? Ведь не поедете ко мне жить?

Слово «жить» он произнес особенным образом, сделав на нем ударение. Я решила, что он просто дурак, и все удивлялась, как такой тупица руководит райисполкомом. Он был необычайно чванлив, любил подхалимов, услуживающих. А сам держался неприязненно, грубо, даже стула не предложит посетителю.

Товарищескую поддержку я нашла у директора МТС Кадырова и заведующего райземотделом Латыпова. Следуя их совету, из кабинета Галиуллина я прямо отправилась к Курбанову. Он только что приступил к работе секретаря райкома партии. Когда я вошла к нему, Курбанов сидел и что-то писал.

«От одного бюрократа вырвалась, попала к другому»,— решила я.

Он продолжал писать и даже не поднял головы. Я страшно обозлилась и грубо сказала:

— Я уезжаю в Казань. Я окончила университет не для того, чтобы бездельничать и обивать чужие пороги. А вам, оказывается, специалисты не нужны. Только вот не пойму, зачем таких бездарных людей, как Галиуллин, держат на работе?

Курбанов вздрогнул, и тут только я поняла, что он не слышал, как я вошла. Он мягко улыбнулся, улыбка его была добрая и спокойная. Так улыбаются взрослые, видя нашалившего ребенка. Я смутилась.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он. — Я здесь человек новый, и, если не ошибаюсь, мы еще не знакомы...

Он привстал и протянул мне руку.

— Врач Галия Сафиуллина, — ответила я, пожимая его руку и чувствуя, как краска заливает мое лицо.

Его спокойный, уверенный голос, добрый, внимательный взгляд умили мое волнение.

— Очень хорошо, что зашли, — сказал он. — Мне уже довелось слышать о вас и слышать только хорошее. Народ говорит, что в Адрасе давно не было врача, а теперь, мол, приехал такой, что лучшего и желать нечего. Вас любят, уважают, почему же вы хотите уезжать? Неужели из-за Галиуллина? Если вам что-либо нужно, говорите, можно будет сделать. Но прежде всего не надо горячиться...

Он встал и прошелся по комнате.

— Не удивляйтесь, что я ворвалась к вам в таком возбуждении, — сказала я. — Виной всему Галиуллин и ему подобные. Я хожу, прошу, требую, и никакого толку. Работать трудно. Амбулатория находится в недопустимом состоянии. Тут же помещается аптека, тут же и наше жилье. Теснота, грязь, беспорядок. До зимы необходимо расселиться, произвести ремонт. А Галиуллин и слушать не хочет...

— Хорошо, — сказал Курбанов. — Я поговорю с ним.

От него я ушла успокоенная. Думала, что все так или иначе устроится, что можно будет развернуть работу всю.

В тот же день, вечером, когда я уехала к больному в соседний колхоз, в амбулатории побывали Курбанов, Галиуллин и техник-строитель. А наутро меня уже вызвал сам Галиуллин.

— Ну и сердитая! — воскликнул он. — Люблю таких. Так вот что. Есть у меня одна свободная квартира. Берег ее для ветеринара. Ладно уж, даю тебе. Пойди посмотри. Понравится — можешь занять.

Я сидела радостная, не узнавая Галиуллина.

— Завтра заседание президиума, — продолжал он. — Райздрав, техник и ты сама приготовьте смету. Но чтобы не больше двух тысяч. Докладывать будешь ты.

Потом я долго смеялась: «Квартира... даю тебе...» Курбанов, видимо, здорово взгрел его.

Наконец переехала на новую квартиру. Достав тес, гвозди, мел и другие материалы, отремонтировала амбулаторию, аптеку, которую все-таки перевели в другое помещение.

Сколько на все это пришлось потратить сил! За всем надо было смотреть самой. Пришлось не поспать, в другой раз и не поесть, а тут еще уборочная в разгаре, подготовка допризывников, организация яслей. Но ничего, зато дел сделала много.

Бывало, вернешься домой после работы, после выезда в колхоз, еле ноги тащишь. Дети встречают радостно, льнут, ласкаются. И где усталость!

Только досыта спать не приходилось. Глядишь, ночью стучат, заболел кто-нибудь. Но я не сетую. Работать, так работать. И, оторвавшись от сладкого сна, я тряслась в телеге по дорожным ухабам, через темные леса ехала к больным, с нетерпением ожидавшим меня.

Встречаясь с Галиуллиным, досадовала. «Не ему, а врачу надо было дать машину», — думала я, иной раз шагая к больному пешком. А успокоившись, сама смеялась над своими злоключениями. Но не скрою, когда колхоз «Красная заря» послал за мной свою легковую машину, ехать было приятно. Еду, бывало, на машине и мечтаю: «Глядишь, пройдет несколько лет, и Родина моя каждого районного врача снабдит автомобилем...»



Искэндер!

Прочтя это, не подумай, что я за работой забывала о детях. Нет. Дети — моя радость. Летом мы каждый день ходим купаться. Гуляем по лесу. Иногда бываем в доме отдыха.

Однако этого мало, чтобы по-хорошему воспитать ребят. Детям нужен отец.

Когда прошло года три со дня нашей разлуки, Кадрия вдруг стала задавать вопросы, на которые мне трудно было отвечать.

— Почему у нас нет папы? — спрашивала она. — Вернется ли он когда-нибудь? На кого он похож? Почему он не пишет?

Каждую свободную минуту я уделяю детям. Ведь я для них и мать и отец. А это очень трудно.

«Дети еще очень малы, — думала я. — Если сказать им правду об их отце, они не поймут».

И, кроме того, не хотелось огорчать их, сказав, что мы разошлись, что отца у них нет.

Ты даже не подозреваешь, сколько мне пришлось передумать в связи с этим.

Что сказать нашим детям? Правду или ложь?

Как только они начинали спрашивать о тебе, я успокаивала их.

— Отец в Москве, — говорила я, — учится там. Кончит учиться и приедет к нам. Привезет нам много гостинцев.

Так, жалея детей и поэтому вынужденная обманывать их, я научилась лгать и соседям.

— Муж на учебе, — говорила я им, удовлетворяя их любопытство.

Ради детей, чтобы никто не мог сказать им, что они сироты, что отец бросил их и вот, мол, они теперь заслуживают жалости, я говорила соседям:

— Муж мой в Москве. Придет время — приедет.

Тяжело жить одинокой женщине. Находится множество людей, которым во что бы то ни стало хочется узнать, почему и когда она осталась одна, когда разошлась с мужем, кто он, что он и т. д. Любят люди залезать с сапогами в чужую душу и топтать ее.

Другие ухмыляются и все норовят узнать: «Не тяжело ли без мужа, не скучают ли дети, да и самой не тоскливо ли?»

Однажды мне нужно было съездить по делу в самую дальнюю деревню района — Аккаен. Когда я хлопотала о лошади, встретился мне Галиуллин.

— К чему напрасно гонять подводу? — сказал он. — Сейчас в Аккаен будет машина. Для вас-то место найдется. С этой же машиной и вернетесь. Быстро и хорошо.

Я, конечно, согласилась. Сначала известно было, что поедут четверо. Но когда машина отправилась, то, кроме шофера и меня, в ней сидел один лишь Галиуллин. Как только мы выехали из Адраса, Галиуллин завел разговор.

— Поди, скучно вам одной? — говорил он. — Что поделаешь? Действительно, культурных людей у нас маловато. Побольше бы нам таких, как вы, — смелых, энергичных женщин, тогда и дела пошли бы лучше. Но вот беда, неохотно к нам едут. Красивым женщинам в деревне скучно! Не так ли?

Он говорил много и долго.

— Вам не холодно? — спрашивал он и, будто бы заботливо накидывая на мои плечи плащ, старался коснуться меня руками.

Он говорил о себе, о своей смелости, о том, что ему не хватает в личной жизни уюта, спокойствия, которых его жена, человек ограниченный, создать ему не может.

Я почти не слушала его. Он спрашивал, я молчала. Впрочем, это не беспокоило его. Он продолжал болтать без умолку. Мне были противны его кошачьи глаза, жирное лицо, деланные вздохи.

Наконец, мы въехали в лес. Галиуллин попросил шофера уменьшить ход и, повернувшись ко мне, начал восторгаться красотой леса, рассказал, как в этом лесу кулаки покушались на жизнь двух коммунистов. И тут же, прервав себя, как-то неловко затянул «Кара урман»:

Лес дремуч, и ночь непроглядна,  
Руку, друг! И в мир пойдем вдвоем,  
И с березы, сказочно нарядной,  
Ветку пожелтевшую сорвем.  
Руку, друг! И в мир пойдем вдвоем...

В каждом его движении, в плавном покачивании, старании придать голосу нежность, а глазам мечтательную задумчивость, — во всем этом сквозило желание понравиться мне. Не успели мы проехать лес, как он приказал шоферу остановиться. Я напомнила Галиуллину, что нам надо спешить.

— Неужели вас не трогает природа? — удивился он. — Что касается меня, то я ради возможности побывать среди цветов в лесу, вместе с такой женщиной, как вы, готов позабыть весь мир!

Сказав это, он вышел из машины и углубился в лес. Вернулся он с букетом цветов в руках и несколькими веточками крупных красных ягод, вырванных с корнем.

— Это вам! — сказал он, театральным жестом преподнося мне цветы.

Машина тронулась. Видя, что все его уловки пропадают даром, он решил повременить.

В Аккаене мы пробыли недолго.

— Поехали, доктор? — сказал Галиуллин. — А то вечер скоро.

Действительно, следовало спешить. Мы пустились в обратный путь.

Наступил вечер. Собирались темные тучи. Мы опять проезжали через лес. Галиуллин снова начал говорить без умолку о совещании, о своей речи. И взглядом, и голосом он, казалось, хотел подчеркнуть: «Видите, ка-

кого ума, какой значительности человек сидит рядом с вами. И вы столь приятны мне, что я делюсь с вами всем, чем живу».

Потом он принялся рассказывать, как он не удовлетворен семейной жизнью и какая у него неудачная жена.

Прямо противно писать об этом. Я совершенно не переношу мерзких людишек, которые способны каждому встречному-поперечному выбалтывать семейные секреты.

Машина вдруг остановилась.

— А, черт! — воскликнул шофер.

— В чем дело? — спросил Галиуллин.

— Вот беда, — сказала я. — Может быть, поломка небольшая?

— Исправить-то исправлю, — сказал шофер озабоченно. — Только вы не стойте над душой.

И он поднял капот машины.

— Пойдемте, — позвал Галиуллин. — Ибрай очень норовист. Терпеть не может, когда его торопят.

И пошел в лес, в сторону от дороги.

— Как готово будет, посигналь! — бросил Галиуллин шоферу.

Я осталась в машине. Сидела и ждала. Шофер терпеливо возился с мотором. Мне надоело ждать. Я вышла и решила немножко пройтись. Вдруг за деревьями показался Галиуллин. Подошел ко мне:

— Любит, не любит! Любит, не любит! — гадал он, обрывая лепестки ромашки.

Заговорил о любви, о женщинах.

— Ах, как хорошо дышится в лесу! — то и дело повторял он, разводя руки в стороны, поднимая их вверх. — Ах, как хорошо! Дышите! Дышите! Я хочу смотреть на вас, видеть вас.

Он внезапно обнял меня и попытался поцеловать.

— Прочь! — крикнула я и изо всей силы оттолкнула его.

Но это не остановило Галиуллина. То ли он по-

думал, что я шучу, то ли ему не хотелось отступать. Он снова приблизился ко мне.

— Ого! Да вы сильная! — смеялся он. — А ну, кто кого? — и, внезапно шагнув вперед, снова обнял меня.

— Подлец! — громко крикнула я и, плюнув ему в лицо, побежала к машине.

— Простите, — догнав меня, стал извиняться Галиуллин. — Я не знал... я думал... я хотел...

— Негодяй! — сказала я. — Неужели вы не видите, что вы противны мне! Неужели вы не видели, что вас оттолкнули с самого начала!

— Я думал, вы шутите. Женщины никогда не говорят «да». «Зачем, к чему, что вы!» — твердят они и, между тем, сами льнут к тебе. А вы не такая. Давайте забудем все, — просил он.

Мотор был «починен». Я села рядом с шофером, и машина тронулась.

Вскоре после этого случая Галиуллин покинул наш Адрас. Оказалось, что он был замешан в каком-то грязном деле. Кончилось это исключением его из партии, а впоследствии и арестом.

Со снятием Галиуллина в районе стало легче работать. И в колхозах дела пошли лучше. Галиуллин, оказывается, был не только донжуаном...

Искэндер!

Письма свои я пишу урывками, в свободные минуты. Поэтому не удивляйся, если найдешь их беспорядочными. Начала я их давно, а конца все не видно. Сама чувствую, что ежеминутно перебиваю себя. Вот недавно писала о детях, а потом упомянула о Галиуллине.

Порой я ругаю себя, зачем пишу. Захочешь ли ты читать эти письма? Но я и не думаю о том, прочтешь ты их или нет. Столько во мне наболело, столько мною пережито, что уж право говорить-то я заслужила вполне.

Я хочу написать тебе о том, как придумала

своим детям отца. Да, да! Именно придумала, сочинила. Вот как это случилось.

В один из вечеров я, сама не знаю почему, вспомнила Вэли и стала перебирать старые тетради, сохранившиеся со студенческой поры. Нашла то, что искала, — фотографию Вэли Сафиуллина.

Взглянув на портрет, я живо представила себе его.

С какой болью в черных глазах смотрел он тогда на нас. Мне стало жаль его. Мне стало стыдно за то, что я тогда смеялась над бедным парнем...

И вдруг все как-то вышло сразу, — мне пришло в голову, и я решилась...

Ведь фамилия Вэли одинаковая с моей — Сафиуллин. И когда Кадрия спросила меня об отце, я показала детям фотографию Вэли и сказала:

— Вот ваш отец!

Вэли стал моим «мужем».

Не сердись, Искэндер. В тот момент я совсем позабыла о тебе.

Карточку Вэли я вставила в рамку и повесила на стену.

— Смотрите, детки! — говорила я Кадрии и Рафаэлю. — Скоро к нам вернется наш папа.

Ты знаешь, что, оформляя стенгазету, я научилась фотографировать. Теперь мне захотелось переснять карточку Вэли. Сказано — сделано. Я размножила ее, увеличила, уменьшила. Пересняла вместе со своей карточкой. Получилось так, как будто мы сидим рядышком.

Со времени нашего супружества у меня сохранилось фото — ведь ты единственный раз снялся со мной и детьми. Таких карточек у меня было две. На одной из них я осторожно вырезала твою голову и вклеила голову Вэли. Потом пересняла. Получилось совсем незаметно. Эту карточку я тоже повесила на стену. Так она и украшает ее до сих пор. К фотографиям привыкли не только мои дети, но и соседи.

— Где твой папа? — спрашивают у Рафаэля.

— Вот! — отвечает он, показывая на фотографию Вэли.

— А как ты его любишь?

— Вот так! — говорит он, целуя фотографию.

Временами я пугаюсь. А вдруг все откроется? Началась эта игра с пустяка, но чем-то кончится! Может ведь случиться так, что мы с Сафиуллиным или его знакомыми встретимся.

Я утешала себя мыслью, что Советский Союз необъятен, что Вэли только один из многих миллионов людей, населяющих страну, и что шансы на встречу нашу необычайно малы. А по временам, не скрою, бывало и так, что появлялось у меня желание увидеть Вэли. Были минуты, когда, усталая, приходила я домой и, глядя на карточку, звала его, думала о нем, спрашивала, вспоминает ли он обо мне, знает ли он, что есть у него «жена» Галия.

Так был выдуман мною «отец» моих детей. Однако сохранить тайну до конца было не так-то легко. В ответ на настойчивые вопросы Кадрии, для которой ее отец стал теперь вполне зримым, мне приходилось тайком сочинять самой себе письма.

Постепенно я научилась каждые десять дней приносить себе и детям «твои» письма. На письма нужно было и отвечать. Уже с прошлого года Кадрия стала тоже писать Вэли, вернее, своему «папе». Вот, например, письмо, которое она написала сегодня.

*«Дорогой папа!*

Рафаэль тоже сидит и пишет тебе письмо. Он писать не умеет, а только портит бумагу, но я на него не сержусь, ведь он маленький, а я большая. Он очень большой шалун, недавно ударил меня палкой по голове. Сколько ему ни говорят, он никого не слушает.

Папочка, милый, когда ты приедешь? Приезжай скорее. Мы в лес будем ходить с тобой. Там много ягод. А то мама очень занята, няня возится с Рафаэлем, а меня одну не пускают. Если бы ты приехал, мы пошли бы вдвоем. Ты мне привези тетради для рисования, цветные карандаши, скакалку и пионерский значок. И Рафаэлю тоже. А то он обязательно будет плакать и требовать мои.

Мы очень скучаем по тебе, приезжай поскорее, папочка. Я покажу тебе свои рисунки.

Крепко, крепко тебя целую.

Твоя дочь *Кадрия*».

Я научилась писать ласковые письма. Такие, какие писал бы своим детям ты, если бы был хорошим, любящим отцом.

Когда перечитываю их, мне по временам начинает казаться, что они написаны не мною, а действительно близким мне человеком, другом моим, мужем моим. Вот какие смешные истории происходят в жизни, Искэндер!

— Посылка от папы! — радостно восклицала я.

Действительно, иногда, хотя и редко, но приносила я детям упакованные, будто бы посланные тобою подарки. Надо же было хоть чем-нибудь порадовать ребят.

Не помню, когда это началось, но меня серьезно стала беспокоить эта ложь. Хорошо, если тайну удастся сохранить в течение долгого времени. Дети вырастут. Тогда я им сама расскажу всю эту глупую историю. Ведь не только дети вырастут, к тому времени изменятся представления людей, их отношения. Но пока что я находилась в постоянной тревоге.

В прошлом году меня напугала Зайтуна апа, мать Нафисы.

— Посмотри, Галия! — сказала она, показывая мне свежий номер газеты. — Тут портрет твоего мужа, о нем пишут.

Я остолбенела, не знала, что сказать.

— Чего же ты не радуешься? — удивилась Зайтуна апа, отдавая газету. — Прочитай! Вот тут — «педагог Сафиуллин».

— Это о папе! — радостно закричала Кадрия и бросилась ко мне. — Прочитай, ну прочитай же, мама!

Я взяла себя в руки.

— Ну, конечно, рада, — сказала я. — Просто сегодня тяжелый день выпал. Прием большой был. Устала я. А об этом уже мне известно из письма мужа.

И я с волнением принялась читать газету.

Оказывается (ты об этом почему-то старательно умолчал в своем письме), Вэли Сафиуллин окончил рабфак, уехал в Москву, учился там на физико-математическом факультете, блестяще окончил его, обнаружив особую склонность к математике. После университета Вэли стал преподавать математику в одной из средних школ столицы.

Проработав там пять лет, он не только организовал в школе математический кружок, привлекий своей работой внимание отдела народного образования, но и ввел в преподавание свои, новые, чрезвычайно интересные методы. По словам автора статьи, преподаваемая Вэли Сафиуллиным математика сделалась одной из самых увлекательных дисциплин в школе. Правительство наградило Вэли орденом Трудового Красного Знамени.

Зайтуна апа уже давно ушла, а я все еще продолжала сидеть с газетой в руках, вглядываясь в портрет Вэли.

Я смотрела на Вэли, и множество мыслей теснилось в моей голове. И страх, что все раскроется, и радость за Вэли, за его награждение волновали меня. Я до того приучила себя к мысли о нем, что чувство радости, искренней и самой дружеской, долго не покидало меня. Я вспомнила, каким он застенчивым и почти неграмотным юношей пришел к нам на рабфак,

«Страна моя! — подумала я. — Слабого ты делаешь сильным, обездоленного — счастливым, покинутого — знатым!»

Не помню, сколько времени сидела я так. Но после первых радостных минут снова охватила меня тревога. Теперь-то уж, видно, должна будет раскрыться тайна. Что тогда будет? Как станут все смеяться надо мной!

Я старалась взять себя в руки. Я утешала себя тем, что Советский Союз велик, что мы не встретимся. Но передо мной лежала газета, и Вэли смотрел на меня со страниц ее грустно и внимательно.

«Будут смеяться надо мной, — думала я, — над детьми!»

Я посмотрела на своих детей. Над ними будут смеяться! И вдруг решилась. Будь что будет! Вэли должен быть их отцом. Я не имею права отнимать его у детей.

— Кадрия! Рафаэль! — позвала я тогда. — Нашего папу наградили. Вот послушайте, какой он хороший, добрый...

И я начала им рассказывать о Вэли.

Сейчас уже ночь. Спокойной ночи, Искэндер! На этом я прерываю письмо к тебе. Но думы мои — о Вэли.

## *Письмо четвертое*

Искэндер!

Временами я ругаю себя.

«Галия, — думаю я, — ты никак не можешь избавиться от предрассудков. Они давят на тебя. Все твои тревоги о семье, боязнь насмешек — все это плоды невытравленных пережитков прошлого в тебе. Ты должна быть сильной. Ты должна быть выше этого».

Легко сказать — будь сильной!

Вместо того, чтобы писать «Письма врача» или вести деловые записки амбулатории, я пишу тебе письма...

Мой день проходит в работе. За работой я забываюсь. При виде нашей амбулатории, чистой, убранной, где больные, ожидая, сидят и читают газеты и журналы, меня охватывает радость.

Я завела тетрадь, в которую вношу наиболее интересные случаи из практики. В дни отдыха хожу с детьми к Мафтухе апа. Она работает председателем колхоза. Мы с ней за чашкой чая говорим о нашей Татарии, о колхозе, о международных событиях, читаем книги.

Мафтуха апа с огромным вниманием слушает мое чтение или читает сама.

Она интересуется всем, чего еще не знает.

На чашку чая, поболтать о том о сем заходят к ней соседи. Особенно любим мы перечитывать одну книгу. В ней — письма людей, погибших за революцию. Однажды я прочла собравшимся письмо девушки, убитой белыми в Одессе в 1920 году. Вот оно:

*«Дорогие товарищи!*

Я честно прошла свою маленькую жизнь, честно и умираю. Через восемь дней мне исполнится двадцать два года. А сегодня меня расстреляют. Это меня не страшит. Жаль одного — мало поработала для революции. Не хочется умирать. Только сейчас я начала чувствовать себя настоящей революционеркой, сознательным партийным работником. Хочется работать. Как держала себя при аресте и на суде — расскажут товарищи. Говорят, что была молодцом.

Крепко целую милую маму. Мамочка, дорогая, не плачь, что моя жизнь окончилась в тюрьме, под пулями бандитов... Будь большевиком!

Все мы, осужденные на смерть, чувствуем себя бодро. Сегодня в последний раз читали газету. Наши приближаются к Перекопу. Скоро, скоро свободно вздохнет родная Украина. Начнется горячая

работа, придут радостные дни, восторжествует свободный труд, расцветет родина моя. Жаль, что не будет тогда меня.

Прощайте, будьте счастливы.

*Д. Любарская».*

Когда я прочла это письмо, шестидесятилетняя Минниса эби — бабушка — заплакала.

— Кто это пишет? — спросила она, утирая слезы, растекавшиеся по ее морщинистому лицу.

— Была такая девушка — Любарская. А почему ты спрашиваешь, эби?

— А вот почему. Ты хорошенько посмотри, милая. Не моя ли дочка, Марьям, пишет? Ей тоже двадцать два года. Да и про Украину тут поминается. Она в то время тоже на Украине была, к отцу своему в Донбасс ездила, о муже я тогда весточку получила. Наши-то куда приближаются?

— К Перекопу.

— Вот-вот. Муж-то как раз там и погиб. А о дочке до сих пор ничего не знаю. Письмо-то, может, она писала. А? «Мамочка», говорит, «дорогая...»

Я объяснила, как могла. Мы утешили старуху. Долго еще не расходился народ.

— Книгу эту с письмами я передам в избу-читальню, — сказала Мафтуха апа, когда я уже стала собираться домой.

Умница эта Мафтуха. В другой раз, например, повела она меня к Миннисе эби. «Приведи, говорит, ко мне докторшу. Там сегодня гости собрались. Ну и мы с тобой придем. Глядишь, ты между разговорами о чем-нибудь полезном расскажешь».

Об этом я и сама думала. Однажды даже предложила Мафтухе апа, что хорошо бы в доме у одной из кол-

хозяин провести беседу, подобную тем, которые в городе проводят на квартирах знатных людей.

Мы вошли в избу. Минниса эби готовила стол. Одна из женщин, пришедших в гости, помогала старухе.

В избе было чисто, полы старательно вымыты, на окнах цветы, занавески, на стене портрет Ленина.

Вскоре собрались все. Народу пришло много. Человек, наверное, двадцать. После моей беседы Минниса эби вспомнила былые годы, рассказала, как она горевала и бедствовала в старое время. Рассказала о муже, о детях, из которых остался в живых только один Марданша — колхозный тракторист.

Желая рассеять грусть, навеянную рассказом хозяйки, сын взялся за гармонь. Кто-то затянул песню. Остальные поддержали. Я ни разу не пела с тех пор, как приехала в район. Теперь смешно подумать, а, сознаюсь, боялась, что станут говорить: мол, доктор не доктор, а девчонка. Ну, а тут запела. И сразу почувствовала себя еще лучше. Потом заиграли плясовую. Затопали каблучки, поплыли плясуны, легко поводя плечами. Снаружи, через окно, в избу заглядывали любопытные.

Наплясались, стали отдыхать.

Мафтуха апа, воспользовавшись тишиной, спросила:

— Камэр апа! У тебя была дочь Фатыма, где она сейчас?

— А разве не знаешь? В Буинском районе, агрономом работает.

— А ты почему молчишь? Ведь и у тебя есть дочь — Шамсинур. Где она?

— В Казани, инженер.

— А твоя, Халиса, где?

— В Москве учится, судьей будет.

— А ты что призадумался, Зиганша абы? Чем стоять там, на улице, вошел бы сюда. Авось, не съедим. Или тебе нечем похвастаться?

Зиганша абы ответил не сразу. Сначала чуть заметно улыбнулся в усы, потом тихонько кашлянул, точно хотел сказать: «Спасибо, Мафтуха, что меня не позабыла». После этого, не торопясь, с достоинством сказал:

— Да, уж есть чем похвалиться Зиганше абы. Моя Майшикар на весь Союз прославленная трактористка! Вот как!

— Правильно! — закивала головой Мафтуха. — Верно говоришь. Поняли вы теперь, какие из нашей деревни люди выходят: агрономы, врачи, инженеры, судьи, трактористы... Но такое может быть только у нас, в Советском Союзе. А ведь есть на свете другие страны. Там люди, и рабочие, и крестьяне, совсем иначе живут. Ну-ка, доктор, расскажи нам, ты куда больше знаешь.

Искэндер! Какой уж из меня оратор. Но тут оратором и не надо было быть. Услышав слова Мафтухи апа, я увидела десятки внимательных лиц, ожидавших моего рассказа.

Дело в том, что незадолго до того я показала Мафтухе апа вырезку из газеты. Текст взят из книги иностранного писателя, путешествовавшего по Японии. Это документ, трагический документ, свидетельствующий о великой социальной несправедливости:

«Настоящий договор заключен между держателем публичного дома . . . . . и поступающей к нему . . . . . в том, что последняя, в силу своего затруднительного материального положения, с согласия родителей или опекунов, заменяющих их, становится проституткой. На основании чего держатель публичного дома . . . . . выдает . . . . . ссуду в размере . . . . . иен, которую . . . . . обязана погасить в . . . . . срок из своих доходов, получаемых от занятия проституцией...»

Вот это я им прочла. Ахиули гости, узнав, что это своеобразный «типовой договор». Тогда я им рассказала, что в одном только районе Аумари заключено семь тысяч

таких договоров, что, судя по данным самой буржуазной прессы, в Японии на сегодня имеется 50 353 проститутки, прошедшие официальную регистрацию.

«Твоя обязанность быть женою. Ты не должна учиться и служить. Твое место на кухне, в церкви и кровати...» Так говорят фашисты.

Искэндер! У меня хранится много интересных документов. Я их собираю в отдельную папку. Там вырезки из газет и журналов. Выписки из книг. Там документы о несчастнейших женщинах буржуазного общества.

Но у меня собраны материалы и о величайших женщинах, чьи имена нам всем хорошо известны. Тут биографии Надежды Константиновны Крупской, Клары Цеткин и других женщин, отдавших свою жизнь народу. В этой папке хранятся документы о женщинах-ученых, летчицах, парашютистках, инженерах, писательницах.

Триста страниц моей коллекции полны былью, о которой со временем сложат прекрасные песни. Я часто заглядываю в эти страницы. Это моя слабость. Не удивляйся ей. Ведь собирают же люди камушки, монеты, почтовые марки. Я собираю документы о мужестве советских женщин.

Вот обо всем этом я рассказала на вечере у Миннисы эби. Я не старалась говорить красиво. Факты говорили сами за себя. Все вышло просто и как-то само собой. Меня поняли. На глазах у многих я видела слезы.

Хорошо, когда у человека есть путь, по которому он может идти. Я, бедная татарская девушка, пробилась из самых низов к знанию. Я отвоевала свое место в жизни, слышишь, Искэндер? Отвоевала сама. Но что было бы со мной, с миллионами других, подобных мне женщин, если бы советская власть не окрылила нас, не указала нам путь в жизни?

Я видела радость, настоящую радость в доме Миннисы эби. Да и как было не радоваться, когда, собрав-



шись вместе, мы увидели, поняли, сколь многого мы достигли.

Если бы ты только знал, Искэндер, какое это счастье видеть радость друзей, близких! Вот тогда во мне возникло желание, чтобы об этом, о большой жизни многих счастливых наших женщин, узнала вся земля, весь мир.

Искэндер!

Внезапное и необычайное событие, изменившее всю мою жизнь, прервало мое письмо к тебе. Так и осталось оно лежать неотправленное, как и первые, давно написанные письма.

Однажды, окончив прием в амбулатории, я собиралась домой. Вдруг в дверь постучали и в мой кабинет вошла женщина, работавшая врачом в доме отдыха.

— Слышала новость? — спросила она.

— Нет.

— Ну, тогда я тебе действительно сюрприз приготовила. — Она улыбнулась и, желая обрадовать меня, сказала: — К нам в дом отдыха приехал твой муж. Мы ему сказали, что ты никуда не выезжаешь, и он сегодня зайдет к тебе.

Я до того растерялась, что выронила из рук термометр. Он упал и разбился. Меня прямо в дрожь бросило.

«Какой муж? Кто? Вэли или Искэндер? С кем встречусь? Кого увижу?»

— Эх ты, голову потеряла на радостях! Ну, ну! Не буду мешать. Ухожу, ухожу. А ты встречай муженька-то. Ведь, поди, соскучилась.

И она ушла.

Я осталась одна.

«Нет, — думала я, — это не Искэндер. С ним у меня покончено раз и навсегда. Да ведь и в доме отдыха его никто знать не может. Но если это он, то ничего страшного нет. Увижусь, поговорю, и волнению конец. А вот если Вэли, тогда что? Что сказать? Как объяснить детям, знакомым? Вот стыд, вот позор!»

От всех этих треволнений у меня заболела голова. Я решила идти домой, а там будь что будет. Открыла дверь. Передо мной стоял Вэли Сафиуллин.

— Можно? — спросил он.

— Пожалуйста.

Он вошел. Я сразу заметила, как он изменился, возмужал, окреп. Только глаза его были прежними.

Лицо Вэли сияло от радости.

— Кто думал, Галия, что через много лет мы встретимся в Адрасе? — воскликнул он.

— Да... — сказала я, не зная, что ответить.

— Ну, как поживаете? Не забыли ли меня? — живо говорил он. — А я часто вспоминал рабфак, наши вечера, вас...

Так прошли первые минуты.

— Что ж к себе не зовете? — пошутил Вэли. — Чайком бы угостили, с семьей познакомили...

Я стояла, не зная, что сказать, что сделать. Ведь приведи я его к себе домой, дети немедленно ринутся к нему с радостным криком: «Папа, папочка!» На стенах он увидит свои фотографии.

Но отступить было нельзя, тем более, что встреча была неожиданная и очень дружеская. Да и расставаться с ним, откровенно говоря, мне не хотелось. Я смотрела на него, и он казался мне близким, родным человеком.

Мы вышли из амбулатории, а я еще не приняла решения. И тут только сообразила.

— Вот видите тот белый домик, — сказала я. — Это моя квартира. Вы не сердитесь, после приема надо себя немного привести в порядок. Минут через десять-пятнадцать, если разрешите, буду вас ждать. Хорошо?

Вэли сразу же согласился.

Вернувшись домой, я отослала детей в лес, за ягодами, накрыла на стол, переоделась.

Карточки решила оставить на месте.

Самовар пел на столе. Вэли вошел, снова пожал мою руку.

— Да у вас не хуже, чем в городе, — сказал он, осматривая мое жилище.

Я не спускала с него глаз. Взгляд его упал на карточки. Он удивленно посмотрел на них, еще и еще раз, но промолчал.

Разговор стал откровенным немного спустя, когда мы сидели за чаем.

— Галия! — сказал он. — В доме отдыха, к моему удивлению, мне сразу же сообщили, что здесь, в Адра-се, работает моя жена. Меня так уверяли в этом, что я отнесся к этому странному сообщению осторожно и решил, прежде чем соглашаться или отрицать что-либо, узнать в чем дело. Ведь в дороге, в домах отдыха случаются всякие приключения. Встретившись, люди быстро друг с другом знакомятся, делятся секретами, дружат, хотя, быть может, впоследствии никогда больше не встретятся. Так и тут. Я решил, что была какая-то история, но что меня с кем-то путают. Не желая огорчить невинного человека, я решил пойти прямо сюда. Но когда врач дома отдыха рассказал мне о вас, описал вас, назвал Галией — я задрожал. — О! — сказал я. — Галия — моя жена! — Всю ночь я не спал. Я думал, что их ввели в заблуждение наши одинаковые фамилии. Я думал, я догадывался, и вот я у вас. Не скрою, Галия, мне радостно слышать, что вас называют моей женой. Я узнал, что это недоразумение. Однако я прихожу к вам и вижу себя на фотографиях вместе с вами, с детьми. Я вижу все это и не верю своим глазам. Кто этот человек — мой двойник? Вашим мужем был актер Искэндер, но одновременно вашим мужем оказывается человек, снятый вот тут, на фотографии. Что это за история? Я положительно отказываюсь что-либо понять.

Вэли умолк. Он сказал все это без тени раздражения или недовольства. Он был просто удивлен.

А я? Думаю, что ты легко представишь себе мое состояние.

— С Искэндером мы разошлись давно, — сказала я. — С тех пор я живу одна и ни за кого замуж не выходила. Впрочем, это не совсем верно, ибо человек, изображенный на этих фотографиях, считается моим мужем. Больше того — мои дети зовут его своим отцом.

— Но кто же это?

— Вы.

Сафиуллин посмотрел на меня с нескрываемым удивлением.

— Я?

— Да, вы. Вашу карточку я нашла среди старых бумаг, сохранившихся еще с рабфаковских времен...

— Значит, в доме отдыха не ошибаются, когда говорят, что вы — моя жена? — не совсем по-обычному рассмеялся Вэли.

— Выходит, что так.

— Но я не понимаю. Зачем вам вся эта история понадобилась?

Я на мгновение задумалась. И затем уже совершенно твердо сказала:

— Если вас это беспокоит или смущает, я сейчас же уберу все фотографии, пойду в дом отдыха и заявлю, что они ошиблись, что вы мне не муж. Но вы тут пробудете не больше месяца, и я хочу просить вас, если можно, не превращать комедию в трагедию. Для вас это пустяки, а для меня более чем серьезно. Я прошу вас, пусть все будет так, как было до сих пор.

— То есть?

— То есть, когда будет идти речь о семье...

— Я не женат, — прервал меня Вэли. — У меня нет семьи.

— Я хотела сказать, когда будет идти речь обо мне и о моих детях, — ответила я и вдруг почувствовала, что мне приятно было услышать от него, что он не женат.

— И что же я должен делать? — спросил Вэли, снова тепло улыбнувшись.

— Говорить, что я, Галия, ваша жена.

— Но в чем же все-таки дело? Убейте, не пойму.

— Мне очень жаль, Вэли, — сказала я, — но мне слишком тяжело прямо ответить вам на этот вопрос. Единственное, что я вам хочу сказать, это — оставьте всякие опасения. Хотя я, как это думают некоторые мужчины, и «обременена» двумя детьми, но все же не собираюсь вешаться всем на шею. Я только прошу вас, позвольте мне вам ничего не говорить и этот месяц называть вас своим мужем. Я не буду навязчива, Вэли. Иначе один из нас должен будет немедленно оставить Адрас.

— Перестаньте, — сказал Вэли. — Никому не надо уезжать. Я согласен. Но вы меня понимаете, конечно, каким образом я стал вашим мужем? Выходит так, что «без меня меня женили».

— Не спрашивайте, Вэли. Я же сказала, что об этом — ни слова. Идет? Вы согласны?

— Да...

— Благодарю вас, — сказала я, пожав его руку.

Тут я рассказала ему о Кадрии и Рафаэле, просила приходить к нам запросто, как к себе домой, в свою родную семью.

Вэли каждый день заходил к нам. Дети быстро к нему привыкли. Они бегали за ним, и только и слышны были их веселые голоса: «Папа! Папочка!»

Они вместе, пока я была занята на работе, ходили в лес за ягодами и грибами. К этому времени и райздрав позаботился.

— Приближается уборка урожая. Тебе, Сафиуллина, пора в отпуск. Да и муж приехал. Самое время отдохнуть. Потом некогда будет...

Я, конечно, согласилась.

Наши встречи стали ежедневными, долгими. Мы проводили все вечера вместе, читали, вспоминали студенческие годы. Дом мой был полон радости. Никогда и ни в чем Вэли не был похож на других мужчин. Я стала бояться за себя, чувствуя, что по-настоящему начинаю любить его. Уже зарождалась тоска при мысли, что скоро все это кончится и настанет время расставанья.

В одном только Вэли не сдержал своего слова. Каждый раз, при каждой встрече, он осторожно переводил разговор на меня и все просил рассказать ему, почему все-таки именно он стал моим «мужем».

— Потом, потом расскажу! — уклонялась я от ответа.

...Я пообещала ему рассказать обо всем в день отъезда. И вот настал этот день. Завтра Вэли уезжает. Как же объяснить, как же рассказать ему все?

И неужели, неужели он уедет? Неужели — разлука?..

Я смотрю на него. Я уверена, что он по-прежнему любит меня. А быть может, это только мое желание, которое я невольно принимаю за действительность? Нет, нет! Иначе зачем бы он был здесь, такой хороший, терпеливый, добрый.

— Галия, — полушутливо, полусерьезно сказал он мне как-то, — Галия, а что, если нам по-настоящему стать мужем и женой? Если пожениться нам... Откровенно говоря, — продолжал он, — я приехал сюда не случайно. Я приехал сюда, Галия, чтобы увидеть вас. Как-то, будучи в Казани, я узнал, что Искэндер там. Я подавил в себе неприязнь к нему и сделал так, что мы встретились. От него я узнал, что вы уже больше не с ним. Мне было радостно и больно. Радостно, что вы освободились от этого человека, больно потому, что тревога наполняла меня, — сколько вам пришлось пережить, не

имея рядом с собой близкого человека. А я мог бы сблечь вашу долю, мог быть возле вас... Я не могу простить себе своей робости и нерешительности, Галия! Я никогда не объяснялся в любви. Я даже не решился сразу сказать, что приехал сюда из-за вас. Я не хотел быть навязчивым, тем более, что я ничего не знал о вас. Ведь Искэндер только и рассказал, что вы разошлись, что вы в Адрасе, и ничего больше. Но теперь... Я не уйду, Галия. Вы должны быть моей женой. Ведь правда?

Я промолчала.

Я чувствовала, что люблю его глубоко, несравненно сильнее, чем любила тебя. Но я боялась, что мое прошлое помешает нам. Все, что было, — мое, тогда не-серьезное, к нему отношение, мои дети, моя жизнь с тобой, — все это будет беспокоить его, мешать нашему чувству. А я этого не хотела.

Завтра Вэли уезжает. Впервые после отпуска я вышла на работу. В голову ничего не идет. Все валится из рук. Все мои мысли о нем. Завтра он уедет. Нет!.. Нет!... Не уедет!..

Мне не хочется писать тебе. Хочется бросить это письмо и начать другое другими словами:

«Вэли, я люблю тебя, мы с тобой навсегда останемся мужем и женой, не только на словах, в моей выдумке, в моей тайне...»

Искэндер! Рядом, в соседней комнате сидит Вэли. Письмо мое не пишется. Руки мои дрожат.

— Завтра я должен уехать, Галия, — сказал мне сейчас Вэли. — Но я не хочу уезжать. Я могу продлить путевку еще на месяц. Но я хочу остаться тут навсегда. Я хочу знать... Я люблю вас, Галия. От вас, только от вас зависит все. Решайте...

— Дайте мне подумать, Вэли, — сказала я и вышла сюда.

Вот я одна. Последние минуты одна. Кончается мое письмо.

Мне нечего больше сказать тебе, Искэндер. Теперь я знаю, Искэндер, эти письма никогда не дойдут до тебя.

В соседней комнате сидит Вэли. Сейчас я пойду к нему, отдам ему все, что писала тебе... Мои неотосланные письма. Пусть прочтет и судит сам. Сейчас я выйду к нему и отдам эти письма, горе свое, думы свои, себя самое...

Прощай, Искэндер! Последняя тень твоя, горькая и обидная, уходит из моего сердца.

Вэли сидит в соседней комнате и ждет. Сейчас я пойду к нему и скажу о том, как люблю его, как дорог он мне. Скажу, что нет для меня счастья без него, нет сил расстаться с ним, нет радости большей, чем принадлежать ему...

Ты ждешь меня, Вэли! Еще немного, и конец. Последняя страничка письма, последняя капля горечи, последняя минута одиночества. Я пью ее, медленно прощаясь с прошлым, еще стоящим перед глазами. Но будущее уж стучится в дверь моего дома. Я слышу его удары, я слышу его приближающиеся шаги. И я встаю, я радуюсь, я иду ему навстречу. Я иду к тебе, Вэли. Я люблю тебя!..



**ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

**Адель Кутуй**  
**(Адельша Нурмухаметович Кутуев)**  
**НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА**

**Повесть**

**Редактор Л. Н. Жаркова**

**Художественный редактор Г. Е. Трифонов**

**Технический редактор А. С. Трофимова**

**Корректор А. Х. Садыкова**

**ИБ № 866**

**Сдано в набор 3/XI-1977 г. Подписано в печать 14/I-1978 г.  
Бумага типографская № 1, 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Учетно-изд. л. 3,46. Услов-  
но печ. л. 3,5. Заказ В-898. Тираж 150 000. Цена 10 коп.**

**Татарское книжное издательство. Казань, ул. Баумана, 19.**

**Полиграфический комбинат им. Камиля Якуба Управления по  
делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета  
Министров ТАССР. Казань, ул. Баумана, 19.**



10 коп.